

Аркадий МАКАРОВ

Догони

СВОЁ ВРЕМЯ



@ЭЛИТА



18+

Аркадий Макаров
Догони свое время

Электронное издательство "Аэлита"

2013

Макаров А.

Догони свое время / А. Макаров — Электронное издательство "Аэлита", 2013

«— Наше время ушло, – говорю я.— Ничего, догоним! – смеётся Валёк весело»С этого эпиграфа начинается роман, он в своей сущности автобиографичен.В прологе рассказывается о кульминационном и трагическом событии страны 19 августа 1991 года в Москве, свидетелем которого стал сам автор, и которое определило дальнейшую судьбу его главного героя.В целом же сюжет развивается с начала пятидесятых годов прошлого века и по сегодняшний день. Советское детство, трудовая юность, работа инженером на многочисленных стройплощадках страны не защитили действующее лицо романа от унижения власть предержащими хамами, отнявшими у народа всё, чем он владел. Интеллигенцию страны опустили до уровня плинтуса, и для того, чтобы кормить семью, она превратилась в низший обслуживающий персонал этих самых гомо хамунсес.Автор откровенно рисует сцены детства, возмужания и вынужденного превращения хорошего советского человека в лицо третьего сорта, в быдло, в обслугу.Роман написан от первого лица, он многоплановый и будет интересен нынешней молодёжи демонстрацией негативного влияния конформизма на исторический процесс.

© Макаров А., 2013
© Электронное издательство
"Аэлита", 2013

Содержание

На далёком перегоне	5
Часть 1	14
1	15
2	16
3	18
4	20
5	23
6	25
7	26
8	29
9	30
10	33
11	35
12	38
13	41
14	43
15	46
16	47
17	49
18	53
19	57
20	59
21	60
Часть 2	62
1	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Аркадий Макаров

Догони своё время

– Наше время ушло – говорю я.

– Ничего, догоним! – смеётся Валёк

Разговоры, разговоры...

На далёком перегоне (вместо пролога)

*На далёком перегоне
Будут душу согреть
Две горячие ладони —
Это Родина и мать.*

Из песни

В русском народном сознании, в русских сказках, былинах, песнях, обычаях и культуре народа так сложилось, что эти два самых дорогих понятия – «Родина» и «Мать» – до недавнего времени всегда стояли рядом, и не было слов выше этих, и не было сущности ближе и дороже. Никто ведь не принуждал народ складывать свою культуру на основе незыблемости и неотделимости этих двух понятий. По народным поверьям? каждый погибший за Родину солдат, минуя все препоны, сразу попадает в Рай, как праведник. Положить душу за други своя – не было выше воинской чести.

Неправду говорят ныне властные остроумы, что патриотизм – «последнее прибежище негодяев». Страшнее и паскуднее этого вряд ли услышишь. С какого нечестивого обезьяньего языка могло сорваться это? Если у богатого соседа «мясо в щах и хруст в хрящах», то не стоит сломя голову бежать из семьи и проситься к тому соседу в приживалки.

В православии, как в духовном стержне русской нации, богатство никогда не было мерилom Божьей благодати и жизненного, нравственного успеха. Священники по церквам не продавали индульгенций, снимая грехи со своих прихожан. Святые отцы не «крышевали», говоря современным депутатским сленгом. Бога не купишь. И положить жизнь свою только во благо золотого бычка в России считалось мерзопакостным. У гроба карманов нет.

Моё отношение к событиям, разрушившим нечаянно-негаданно коммунистическую власть 19 августа 1991 года, неоднозначно и определяется сказанным. Как неожиданный свидетель и непрошенный участник того действия, я имею полное право рассказать о нём, как могу и как видел..

Конец восьмидесятых и начало девяностых годов, по-моему, было ознаменовано полным провалом экономической политики партии и правительства. Каждая из этих всевластных сторон, как при игре в домино, имела на руках по чёрной костяшке «пусто-пусто». В магазинах, кроме вечнозелёных помидоров в стеклянных пузатых банках и скучных продавщиц при них, ничего не было. А в одной из многочисленных очередей написались стихи с характерным названием – «На переломе». Вот они:

Работы много. Дела мало...
Машину старую – на слом!

Казённым слогом, как бывало,
Грохочет радио о том.
Ещё о том, что был, мол, промах,
Да превозмог его народ.
Ну, а у нас на чернозёмах
За недородом – недород.
В очередях скучнеют лица.
И шумно дышит за спиной
Под сонным взглядом продавщицы
Люд терпеливый, трудовой.
На всё согласный и безгласный,
Привыкший к промахам вождей...
«Спасибо солнце не погасло,
И лето всё ж не без дождей!»

Страну коммунистические лидеры того времени явно банкротили, чтобы потом разобратъ по дешёвке. Даже в закрытых элитных военных городках нечего было купить. Замужняя за советским офицером моя дочь писала из такого городка под Хабаровском, чтобы мы ей выслали продукты. «У нас даже хлеба без осложнений не купишь» – слёзно сообщала она.

Используя старые и новые связи, я прикупил кое-чего съестного, и, не доверяя почте, с тяжёлыми перемётными сумками подался за восемь тысяч километров, чтобы осчастливить зятя-капитана и любимую дочь макаронами, рисом, салцем с чесночком, ну и, конечно, вождельной колбаской. При посадке в самолёт у одной из сумок оборвался наплечный ремень, и мне пришлось под укоризненные взгляды бортпроводницы волочить по гулкому дюралевому настилу свою поклажу. Но долетел я до Хабаровска, слава Богу! Обрадовал. Обнял. Угостил. Да и сам угостился, благо привёз всё своё.

Рассказывая это, я несколько не ухожу в сторону от повествования о событиях 19 августа 1991 года. Дело в том, что если бы не мой столь протяжённый перегон, этот вояж на Дальний Восток, мне не посчастливилось бы стать участником исторического момента.

Так вот – нагостившись, сколько надо, и накупавшись в Амур-реке, а лето в это время на Дальнем Востоке довольно жаркое и душное, я 19 августа 1991 года (вот ведь год-перевертыш!) отправился под сень своих среднерусских небес. Не заметив парадокса догоняющего времени, я оказался в столице нашей Родины в тот же день и примерно в тот же час, когда самолёт взлетал над Хабаровском – то есть, около двух часов дня было по Москве. На Павелецком вокзале стояла, как всегда, толкотня, но ничего такого сумасшедшего не замечалось. Пассажиры, как и я сам, в дороге радио не слушали, газет в суматохе вокзальной не читали. Всё шло обычным порядком. Только вот ни в одном из буфетов вождельных горячих сосисок не оказалось, и пришлось пользоваться жиденьким вокзальным чайком с чёрствой булочкой. И то – дело!

Времени до отправления поезда номер тридцать один было предостаточно, и я по всегдашней привычке подался в центр – потолкаться на Красной площади, так сказать, отметить своим присутствием и запечатлеться в сердце Советской Родины...

Вот почему я оказался в тот день в том самом месте, о котором ещё долго будут писать историки.

Предвкушая сладостную прогулку по центру Москвы, я нырнул в настоящую на машинном масле, но отдающую приятным холодком горловину метрополитена – стоял пасмурный, но довольно душный августовский день.

Мне хотелось походить по старому Арбату, поглазеть на живописные полотна обитавших там художников, послушать уличных музыкантов, поглазеть на удивительнейшие представления всяческих импровизаторов, лицедействующих под бречанье монет в мятый картуз.

Одним словом, с максимальной пользой для себя убить время. Ноша плечо не тянет, знай, ходи себе, крути головой, поглядывай да прищёлкивай языком: «Ну, надо ж такое!»

Станция Березай – кому надо, вылезай! Всплываю на эскалаторе, выхожу из метро, а там все пути-дороги заблокированы угрюмыми неприветливыми людьми в полевой защитной форме: не сразу разберёшь – офицер или солдат перед тобой. Что такое?! Зачем? Но лёгкий короткий удар прикладом автомата в плечо, когда я попытался возмутиться, возражая, что вот, мол, по своей русской земле уже и пройти нельзя, куда хочешь, показал мне уверенную руку капитана в общевойсковых погонах. Ударив меня, капитан теперь смотрел в другую сторону, где какой-то тип, вроде меня, решил пробраться через кордон.

Удар, который пришёлся мне, был хоть и лёгкий, но от этого не менее оскорбительный, и во мне сразу взорвалась находившаяся в состоянии анабиоза забытая гордость великоросса: – «Ах, ты!..», но подоспевший вовремя милиционер, придавив плечо чугунным крылом ладони и матерно выругавшись, толкнул меня опять в машинное чрево подземки: – «Гуляй, мужик!»

Теперь из возмущённого говора пассажиров метро я уже понял, что случилось что-то такое, от чего тоскливо заныла душа. Неужто снова – в «светлое будущее», похожее на дырочку в общественном туалете, заглядывать? А где же объявленная гласность? А перестройка? А словоохотливый Горбачёв с проектом перелицовки ленинизма под «настоящего» Ленина? Что ж это всё – вибрация воздуха и смущение духа?

По электричке ползли невероятные слухи о вводе в столицу войск; то ли американских, то ли израильских, а то ли ещё каких... Но, ударивший меня минуту назад капитан был с явно выраженной курносой рязанской мордой, в которую, если хорошо размахнуться, не промахешь.

Чтобы ни говорили люди, а какое-то опасливое любопытство присутствовало и во мне: как там наверху?

Выплеснувшись из метро на проспекте Маркса, у гостиницы «Москва», я от неожиданности растерялся: площадь Революции у Исторического музея и площадь 50-летия Октября у Манежа были похожи на скопления гигантских дорожных аварий – грузовые машины, автобусы, дорожная техника, жестяные короба, тягачи перегораживали доступ к Кремлю.

На моих глазах полсотни весёлых людей с гиканьем и свистом катили к Манежу новенький троллейбус, оторвав от кормящих его проводов. Ни милиции, ни военных здесь не было. На крыше одного автобуса какой-то молодец, приплясывая и размахивая руками, показывал, как он будет расстреливать Кремль. «Провокатор!» – подумалось мне.

– Эх, гранатой бы... Как в Афгане! А с автоматом разве возьмёшь? – качал головой рядом со мной плечистый парень с обожжённой левой скулой. – Коммуняки, сволочи, что сделали!

Он-то и рассказал мне о ГКЧП. Путч набирал силу.

В толпе сновали озабоченные молодые люди, несмотря на духоту, в зауженных костюмчиках невыразительной расцветки, внимательно прислушивались и что-то отмечали в записных книжечках. Но в общей суматохе на них никто не обращал внимания.

Того парня, который рвался расстреливать Кремль из автомата, согнали с крыши автобуса, и его место занял другой, с мегафоном в руке и призвал всех не паниковать и не поддаваться на провокации.

– Не в силе Бог, а в Правде! – выкрикнул он в толпу. Его поддержали одобрительными хлопками. Потом, сменяя друг друга, выступали люди из толпы. Взирались по плечам на покачую крышу автобуса и кричали разное, но в основном слышалось: – «Долой КПСС!» – с ударением на две последние буквы.

Толпа гудела. Ликовала. Пробовали запеть «Подмосковные вечера», но из-за возбуждённого гомона этого не получалось. Людей, как и меня, опьянило, обнимая, радостное предчувствие чего-то большого, громадного, что полностью изменит жизнь. Тревоги не было. Восторг

переполнял улицу. Толпа всё ширилась, ширилась и росла, вскипая, как молоко в котле: наступал конец рабочего дня.

Состояние толпы не было похоже на какую-то агрессивную революционность, на желание противоборства и неподчинения. Люди просто ждали, осознавая, что грядёт что-то такое, что напрочь изменит всё их существование. Я тому свидетель. Душевный подъём был необыкновенный. Мужик, протягивая мне пластиковый стаканчик с водкой, твердил одно и то же:

– Не пройдут коммуняки! Не пройдут, мать иху так!

– Ну-ка, помоги! – сказал я мужику, протягивая ему опустевший стакан, и он, подставив плечо, помог мне взобраться на неустойчивую крышу автобуса.

Кто-то сунул мне в руки широкий ратруб мегафона:

– Говори! Только громче!..

Я, от волнения глотая слова, кричал о тамбовской солидарности с москвичами, о смычке провинции со столицей. А потом попытался прочесть недавно написанное стихотворение – «Самоеды». А что? Внизу, подо мной, демократия стояла полнейшая. Правда, мегафон в моих руках невозможно фонил, гудел, повторяя дыхание толпы, но я, возбуждённый всем увиденным и возможностью прочесть столичному люду открыто и во весь голос то, что меня волновало и стояло у самого сердца, срывающимся голосом кричал:

И Закон, и Бога поносили,
Раздувая пламя под избой.
Отворяли жилы у России,
Упиваясь кровью и слезой.
По рукам пустили на забаву...
Чтобы было горше и больней,
Распинали Родину, как бабу,
На широкой простыне полей.
И в казённом пыточном подвале,
Наглотавшись спирту, по ночам
Над парашей руки умывали,
Как и подобает палачам.
Спохватились братья-россияне,
Возопив под злобною уздой,
И себя в испуге осеняли
Пятипалой огненной звездой.
Где ты, Русь, оплаканная дедом?!
Чьи следы затеряны в снегу?
За спиною встали самоеды,
Доверяя право батогу.

Мегафон гудел, гудела площадь, и мне пришлось, не дочитав двух последних коренных строк, спрыгивать с импровизированной трибуны.

Несмотря ни на что, состояние моё было чудесным: «Блажен, кто посетил, сей мир в его минуты роковые...»

Никаким антисоветчиком и диссидентом я не был, хотя коммунистом тоже не был. Их железобетонная тупая уверенность в своих действиях меня не вдохновляла. К тому же, неэффективной экономикой они, то есть руководители страны, доказывали много лет и доказали свою несостоятельность. А как иначе это называть? Без войны страна терпела такую разруху, что надо было вводить карточную систему. То ли антисоциалистический заговор всего Политбюро с Генсеком вместе, то ли сплошная шизофрения власти. Кто им мешал – хотя бы слегка

либерализовать структуру гигантской державы – и не случилось бы того, что случилось. Стояла бы наша многонациональная шестая часть суши крепко и властно. Ведь перед крахом Союза за сохранение единства страны проголосовало подавляющее большинство даже в мононациональных республиках, не говоря уже о русском народе. В любом уголке Союза можно было чувствовать себя, как на своей малой родине, например, в Тамбовских моих Бондарях. И даже в чеченских нагорных селениях, где мне приходилось быть, я всегда встречал дружескую руку и одобрительные гортанные цоканья языком за гостеприимным столом с фруктами, с дивными пахучими травами, и, конечно, с вином непривычного для русского вкуса, но с весьма полезными свойствами для духовного общения.

Что плакать по волосам, когда голова снята...

В тот памятный вечер 19 августа, в год перевертня, перефразируя старую песню, могу сказать – шумел, гудел народ московский. Вместе с ним, московским народом, радостно гудел и я. Коммунистической власти пришёл конец – это уже, опережая события, носилось в воздухе, и эту радость не мог заглушить накатывающийся гром со стороны площади Дзержинского, от Детского Мира. Небо не косматилось тучами, и было затянута белёсой пеленой, куриной слепотой какой-то. Слабо и нехотя моросил дождь. Ждать грозы было неоткуда. Толпа недоумённо крутила головами: что такое?! Но рокот нарастал, как будто оттуда, с гигантской площади, поднялся на форсаже рой реактивных истребителей. «А-а-аа!» – волной прокатилось по толпе. Неожиданно появились в оранжевых безрукавках несколько дорожных рабочих с ломami и стали почему-то выворачивать бордюрные камни. Камни сидели так плотно, что стальные стержни в руках рабочих упруго прогибались. Но вот один камень отвалился, за ним другой, третий... Люди, охочие до всяких дел, стали перетаскивать тяжёлые блоки на середину улицы. Я, подхваченный какой-то суетливой лихорадкой, кинулся помогать им, не вполне уяснив: в чём дело?

Но вот в широкой горловине проспекта Маркса, то и дело ныряя носом, на огромных роликовых коньках, как с конвейера, катились страшно и неотвратно, бронированные машины пехоты с длинноствольными пулемётами на платформах – чудовищные марсианские единороги.

Мне действительно стало страшно. Машины казались тупыми недоумками-пришельцами из другого мира в стройном упорядоченном мире городского пейзажа.

Народ, собравшийся уже достаточно, чтобы затопить собой широкий рукав проспекта, шумно ахнул, располовинившись по обе стороны проезжей части. Машины катились на малой скорости, но от этого исходящая от них рыкающая опасность была не менее роковой.

Я впервые, не на киноленте, а в яви увидел неотвратимость беды, и мне стали до боли понятны чувства оккупированного чужой силой народа. Эти рокочущие громады стали для меня инородны, как будто это вовсе и не наша родная армия-защитница, а вражеская.

Но я поспешил в своих выводах.

Подпрыгнув несколько раз на бетонных блоках, раскинутых на проезжей части улицы, нырнув, броня остановилась. Из башни, как из канализационного люка сантехник, выбрался в чёрном комбинезоне военный, судя по внешнему виду, офицер, и, что-то крикнув в чрево машины, снял свой ребристый шлемофон. Лицо его было озабоченным. Черные потёки пота избородили скулы и состарили. Выпроставшись полностью из машины, он уселся на броне, покатою, как крыша сарая, и вытянул затёкшие ноги. Откуда-то в руках женщин из толпы появились поздние садовые цветы, и головная машина с уставшим на ней офицером была закидана жёлто-розово-красным цветом. Затем туда же полетели разноцветные пакеты с чем-то съедобным.

Офицер, вытянув обе руки навстречу толпе, проговорил хрипло:

– Родные, славяне, земляки, что же нам делать?

– Сынок! – кричали из толпы, – с народом не воюй! Стой, как стоишь, и своим солдатам прикажи! Тебе ничего не будет!

На шум, высунул круглую, как капустаный кочан, голову механик-водитель, совсем ещё мальчишка, салажонок. Ему стали совать в смотровой люк блоки сигарет, конфеты. Конфеты сыпались на броню, падали на землю. Солдат, не обращая внимания на сладости, блаженно улыбался, с удовольствием потягивая ароматный дым непривычных дорогих сигарет. Он, казалось, совсем забыл про Устав. Забыли про Устав и все те, кто шёл колонной за головной машиной.

Женщины, раскинув руки, припадали к разогретой броне, обнимали её, смеялись.

Действительно, умри – лучше не скажешь: народ и Армия – едины!

Люди, окрылённые первой настоящей победой, почувствовали свою силу: всколыхнулись, загудели, и, как стая осенних птиц на перелёте, руководимая не вожаком, нет, а неизвестной неизъяснимой силой биотоков, что ли, повернули вверх по улице Горького.

– К мэрии! К мэрии! – раздавалось со всех сторон.

Вот уже новое модное слово! Хотя «Моссовет» – более привычной для того времени, но все почему-то кричали: – «Мэрия! Мэрия!»...

И вот уже в широком каменном горле заклокотало, вскипело чёрным крошевом и понеслось гулко и просторно. На мостовой ни машин, ни других движущихся механизмов не было. Со всех сторон в это крошево примешивалось ещё, и ещё, и ещё...

Я, подчиняясь инстинкту толпы, тоже кричал что-то, перемещаясь вверх по улице то короткими перебежками, то шагом, напрочь забыв о том, что в кармане лежит билет до Тамбова. Сумерки сгущались. Где-то сбоку снова зарокотало, зацокало железо о камень.

– Танки! Танки! – и толпа снова вскипел, побежала. – К мэрии! К мэрии! Они не пройдут! Кто «они», было уже ясно.

Увидев здание Главпочтамта, я вдруг вспомнил себя, и сходу, увлечённый и вдохновлённый необычными событиями, свернул туда, чтобы позвонить домой, в надежде задержаться в Москве. Но в трубке там, с другого конца провода, раздалось короткое и достаточно ясное слово. Встревоженный голос жены привёл меня в чувство. Спорить – себе дороже. Времени до отправления поезда почти совсем не оставалось, и я, немного помешкав, провалился в метро, досадуя на свой податливый характер.

В поезде все разговоры сводились к тому, кто кого повалит: коммунисты демократов, или – наоборот.

На другой день вся страна была прикована к голубому экрану. Там, в столице, происходило невероятное: путч проваливался. Все ждали чуда. Радовались за победителей. Наконец-то будем жить по человеческим законам, как большинство стран в мире, нормальной жизнью. А как же?! Ведь победил народ!

Но действительность оказалась более прозаической, неожиданной и трагичной. Как тут не вспомнить строчки Николая Рубцова: «Всё было весёлым вначале, всё стало печальным в конце...» Могучий Советский Союз, раздираемый местными партийными князьками, пал в одно мгновение, как загнанная лошадь. И начался вселенский жор. Власть имущие, потеряв остатки совести, вместе с уголовным отребьем глотали и не давились. Глотали и не давились, оставив с носом тех, кто создавал материальную основу страны, кто действительно устал от лишений и бестолковщины.

Совершилось то, о чём писал бунтарный Бакунин около века назад: «Нам надо войти в союз со всеми ворами и разбойниками русской земли» Правда, Бакунин отрицал собственность в теории, а сегодняшние воротилы отрицают чужую, кровную собственность, на практике: «Вам не положено! Отдай!»

Страна, нет, вернее часть страны, её большая часть, повернула так круто, что сразу забылись все нравственные нормы и предварительные обещания властей.

Деньги – это воплощение материи в знаках, а материя, как известно, не исчезает и не возникает вновь, она только видоизменяется. Если где-то прибавилось, то должно где-то на столько же убавиться. Это знали так давно, что и говорить не надо...

Грустно. После десятилетия монетарного государства у меня написались следующие стихи о том, что произошло со всеми нами и с нашей страной.

Живая вода

Блюминги, слябинги, домны, мартены,
Живая вода в решетке...
Всё это – Ивана, сына Матрёны,
Того, кто живёт во тщете.

В домнах чугун, а в мартенах – железо,
В скважинах – нефти потоп.
Иван оглянулся – всё мигом исчезло,
Осталось в руках решето.

Зелёная медь орденов и медалей...
Ивану награды – не впрок!
Пришли говорливые люди и дали
Кличку Ивану – «Совок!»

Потом заманили в словесные дебри
И разум – за ум завели.
Иудины дети, полпреды отребья
И новых вождей холуи.

Блюминги, слябинги, домны, мартены,
Нефть, как живая вода —
Всё это Ивану, сыну Матрёны,
Уже не видать никогда.

– Врёте, поганцы! Ещё ведь не вечер! —
Ему донеслось от молвы.
Поднялся Иван, распрямил свои плечи...
Глядь, а он – ниже травы.

Что за колдун запредельного края?
Чья на тебе ворожба?
Крестная сила да сила земная,
Трёхперстьем своим отмахни ото лба.

В миг расплзутся жуки-скоробеи.
Конь под Иваном порвёт удила.
Медленно-медленно силушка зреет,
Скоро вершатся дела.

«Запад нам поможет!» – эта крылатая фраза звучит теперь, как издёвка. Они там знают, хорошо наученные нашим опытом, что критическая масса, как в атомной бомбе, грозит большими последствиями, и поэтому и бюргер, и рабочий, и фабрикант конвергировались, как говорят физики, в единую нацию, где каждый чувствует не показную нищенскую, а настоящую заботу своего государства о себе и судьбах своего народа.

Я не ретроград и вовсе не тоскую по коммунистическому прошлому, но справедливость в обществе, тем более объявленном сверху демократическом, должна стоять на первом месте. Это так, что бы ни говорили о сегодняшних успехах построения светлого капиталистического завтра.

Часть 1

Длинный день короткого лета

Город, город, что же ты наделал?

Ты отнял деревню у меня.

В. Богданов

Каждый творческий человек ищет, или уже нашёл на своей дороге свалившуюся с неба лучезарную звезду, чтобы в её окрылённом свете ловить эфемерных бабочек удачи и славы. Некоторым избранным она падает прямо на плечи, или оставляет отметины на лбу. Недаром ведь гениальный русский поэт Юрий Кузнецов написал: «Ночью вытащил я изо лба золотую стрелу Аполлона...»

В далёком детстве и я подобрал на пыльной бондарской дороге если не звезду, то подкову тщеславия, это уж точно.

Правда, счастья и удачи та подкова мне не принесла, но и не ввергла мою жизнь в уныние. Да и как впадёшь в уныние, когда подкова та до сих пор водит меня по замысловатым дорогам и тропам, а нередко, обременяя судьбу, заводит туда, куда, казалось бы, и идти-то незачем. С тем и живу...

1

Окончив школу, я, сломя голову, ринулся в самую бучу, если не сказать – бучило, с грохотом и скрежетом металла, высверком сварочной дуги, рёвом машин и горловыми криками бригадира, сквозь этот гам, на меня, уже не подростка, но ещё и не юношу «обдумывающего своё житьё» – коли по Маяковскому.

Бригадир был мужик суровый и скорый на руку, если зазеваешься. На монтажных работах всякое бывает...

Строился город, рос вдаль и вширь, и я рос вместе с ним.

Имея в кармане невесть откуда взявшуюся подкову, я не обдумывал своё житьё: не до того было, и попал на стройку совершенно случайно.

Шёл тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год. Лето. Полупорка военных времён, швыряя нас от борта к борту, неслась вскачь по узкому гулкому коридору. Справа и слева зелёными шпалерами стояли деревья, большей частью сосны, и красные стволы их на тёмно-зелёном фоне выделялись особо.

Машина иногда пробуксовывала, перетирая колёсами песчано-глинистый грунт лесной дороги. Тогда мы останавливались, и, подпирая плечами задний борт, помогали шофёру выбраться из колдобины.

До Тамбова асфальта ещё не было, и связь с городом осуществлялась нерегулярно. И мы, перехватив в Рассказове попутку, летим, надувая ветром рубахи, навстречу своей судьбе. В Тамбов! В Тамбов! В город, который я помню ещё с мокрогубого детства, где по дороге впервые пережил одно из самых мерзких чувств: панически вселенское одиночества и рождённый этим одиночеством страх.

А вначале всё было так хорошо...

2

Лес я увидел впервые.

Солнце пушистой белкой резвилось в густой листве, разбрызгивало под ноги золотые монеты, но сколько бы я ни ловил их, в ладонях оставались лишь невесомые пятнышки света. После бондарских степных просторов с выжженными, цвета верблюжьей шерсти холмами, привычно горбатившимися за обрывистым берегом Большого Ломовиса, теперь такое количество деревьев меня ошеломило. Похожее чувство я испытал ещё раз в жизни только при виде моря.

Но это будет много лет позже.

В самих Бондарях сады начали вырубать сразу после установления Советской власти. А в военные годы порубили последние деревья: платить налог за каждый корень не было мочи, да и лютые морозы того времени требовали негасимого огня в жадных до поленьев усадистых русских печах. В топку шло всё: хворост, ботва с огорода, а когда было совсем плохо, приходилось рубить яблони и груши, и даже горячо любимую русским народом рябину. «Как же той рябине к дубу перебраться? Знать ей сиротине век одной качаться» – помните?

Не пришлось бондарской рябине долго жаловаться – повалил её топор. Мне же досталось помнить лысые, продутые насквозь пыльные улицы нашего села, и – никакой зелени, чтобы зацепиться глазу. Может быть, поэтому я был так счастлив в тот день в лесу...

Дядя Федя, теперь уже покойный, райисполкомовский конюх, взял меня в Тамбов, в длинную и полную впечатлений дорогу. А как не взять?! Соседское дело!

Мать быстро собрала меня, сунула узелок в руки и перекрестила: «А в городе у него крёстный да крёстная, да ещё одна тётка есть, так что ситный ему будет за каждый день, да и ума пусть за лето наберётся – Тамбов все-таки. Там и кино, и театры всякие, да и люди почище. Не как здесь – в навозе. Пусть посмотрит, попривыкнет. Небось, повезёт где-нибудь после школы на заводе к хорошему делу прислониться. Глядишь, и свой кусок завсегда будет. Не в Бондарях же всю жизнь за трудодни горбиться!»

Я весело завалился на телегу с сеном, и мы тронулись в путь. А путь мне предстоял длиной в полный летний день и мою мальчишескую жизнь.

Утро было зябким и долгим. Солнце никак не хотело вставать, и я, разворошив свежее, не совсем высохшее, а только подвянувшее сено, залез в него по шейку, и, вращая головой в разные стороны, озирал окрестности. Лошадь шла мелкой рысью, взбитая влажноватая пыль, лениво поднявшись, тут же оседала на землю. От травы исходило вчерашнее тепло и запах парного молока. Хорошо сидеть! Лошадь только – цок-цок-цок! Бряк-бряк-бряк! Будто кто её похлопывает широкой ладонью по животу.

– Селезёнкой ёкает! – объясняет дядя Федя. Бросив вожжи, он улёгся рядом со мной на живот, покуривает вечную самокрутку, которую никогда не выпускает изо рта. Как только огонь доберётся под самые губы, так сразу – новую крутить. Я его и до сих пор с козьей ножкой вижу. Только курил он почему-то не затягиваясь, а так – дым пускал, небо коптил.

– Привычка с войны привязалась, дым в себя не глотаю, а в зубах сигарку до смерти держать охота. Вот поди ж ты! – сокрушался он, заметив мой пристальный взгляд.

Дорога уходила вверх по центральной улице с характерным названием «Тамбовская».

Улица выводила на старинный ямщицкий тракт, соединяющий Тамбов с Кирсановом, Пензой, и через Пичаево – с Моршанском и Рязанью, а через Уварово-Мучкап – с Саратовом и далее с Астраханью. Такая вот столбовая дорога.

Наш сосед ехал в Тамбов по каким-то своим делам.

Человек он был смешливый, всегда с подначкой, пить и дебоширить, тем более, материться, как большинство бондарцев, не любил. Потому не всегда пользовался уважением у наших мужиков.

У него была обидная и презрительная слава бабьего угодника, примака, проживающего с тещей и не проронившего о ней ни единого худого слова, хотя теща его была баба сварливая и скандальная, корила его за неумение жить, за работу конюхом, грязную и неблагодарную. Мне часто слышался её голос хозяйки и распорядительницы.

Жена же его, наоборот, была тиха и спокойна, ссор с бабами не затевала, ходила чисто и опрятно, правда, всегда в чёрном платочке. То ли за этот чёрный платок, то ли за то, что она пела в церковном хоре, бабы называли её монашкой, и тихонько подхикивали над ней, как будто быть монашкой – предосудительно. Детей у наших соседей не было. Может быть, поэтому дядя Федя при встречах приветливо шутил с нами, пацанами, в большинстве своём – безотцовщиной. Война прошла и по нашим детским судьбам жестоко и без разбору...

3

Под тихое поскрипывание телеги я задремал, согретый привянувшим сеном и близостью большого, пахнувшего табаком и лошадьми, крепкого мужского тела. Проснулся, когда солнце припекало всю и становилось жарко. Разгребая руками сено, я выпростался из своего гнезда и снял рубашку. Дядя Федя всё так же лежал на животе, прижав локтем вожжи и посасывая самокрутку. Бондари остались далеко позади, только церковь, размытая знойным маревом, покачивалась на самом горизонте, оседающая и меняющая свои очертания. Так далеко от дома я ещё не был. Щемящее чувство оторванности от родного гнезда заставляло всё время поворачивать голову туда, где вместе с белым облачком уплывала за край земли наша церковь. По большим праздникам, а на Рождество и на Пасху мать не без труда заставляла меня идти с ней в сумеречную прохладу храма и молиться за своих близких, чтобы, не приведи Господи, беда не наследила в нашем доме, чтобы картошка уродилась, чтобы я хорошо учился и был хорошим сыном, и стал хорошим человеком.

Не знаю, дотянулись ли мои детские молитвы до Бога? Нет в живых ни отца, ни матери, а судить о себе, как о человеке, я не имею права. Но, судя по всему, видимо, не были столь усердными мальчишеские молитвы...

Лошадь, разомлевшая от жары и нашего попустительства, шла тихим шагом, лениво кивая головой. По обе стороны дороги наливалась колосом до поры до времени зелёная рожь, и там, во ржи, где пронзительно голубели васильки, какая-то любопытная птица всё спрашивала и спрашивала нас: «Чьи вы? Чьи вы?».

– Бондарские мы! Вот чьи! – весело сказал дядя Федя, и, встав на колени, огрел нервную лошадь длинным плетёным цыганским кнутом так, что она от неожиданности, потеряв чувство меры, сразу перешла на галоп. Телегу затрясло, и я, тоже встав на колени, ухватился за жердину, чтобы не выпасть на пыльную дорогу.

– Ах, мать твою ети! Жизнь по воздуху лети! – дядя Федя огрел кнутом лошадь ещё раз, и она с галопа перешла на рысь, крупную и размеренную.

Надо сказать, что наш сосед никогда не ругался матом и в подходящих случаях: упоминал или «японского городского» или говорил «ёлки-палки». Но, теперь, видимо, почувствовав свободу и волю, решил осквернить свой язык таким вот приближением к весёлому русскому матерку. Было видно, что у него, то есть у моего соседа, нынче озорное настроение. Он, наверное, как и я, был возбуждён простором, безлюдьем полей, длинной дорогой и предполагаемой встречей с городом. Лицо его, нынче гладко выбритое, светилось какой-то затаённой радостью, предвкушением чего-то необычного. Глаза с озорной усмешкой посматривали на меня, и весь их вид говорил, что, мол, вот мы какие! Перезимовали и ещё перезимуем! А сегодня наша воля!

Я тоже заразился этой бесшабашной радостью: нырнул несколько раз в сено, опрокинулся на лопатки, чтобы посмотреть – куда это идёт-плывёт вон то белое облачко? А вдруг из него покажется бородатое лицо Бога? Вот ужас, что тогда будет!

Но мою голову начало колотить так, что я вмиг растерял все фантазии.

Лошадь с размашистой рыси перешла на короткий бег, быстро-быстро переступая ногами, и так она бежала без понуканий долго и ровно.

Впереди высоким забором из частых штакетников вставал лес, тёмный и таинственный. Лес вырос как-то сразу, из ниоткуда, и я с удивлением рассматривал его сказочную сущность, о которой читал только в книжках.

Дорога, песчаная и рыхлая, в которой со скрипом увязали колеса, заставила лошадь перейти на шаг.

Мы въехали в звонкую и сумеречную прохладу леса. То ли птицы, то ли сам воздух ликовавал от полноты бытия: клубилось зелёное и синее, жёлтое и голубое. Под каждым кустом, веткой и деревом ворочалась, скрипела, трещала и свистела жизнь во всех проявлениях. Дышалось легко и свободно.

Дядя Федя, глубоко вздохнув, повертел головой и выбросил недокуренную сигарку. Потом я это вспомнил, читая у Николая Клюева: «В чистый ладан дохнул папироской и плевком незабудку ожёг».

Все моё тело омывала лёгкая прохлада, как будто я после пылкого зноя окунулся в хрустальную струйную воду.

Повернув с дороги и вихляя меж стволов, мы заехали далеко в глубь леса. Сам ли дядя Федя хотел, или только меня потешить, зная, что я отродясь не видел леса, но заехали мы в такие дебри, из которых я не знал, как будем выбираться. Деревья обступили нас со всех сторон, с любопытством поглядывали на незваных гостей и тихо о чем-то перешёптывались на своём древесном языке. Они вероятно, осуждали нас за то, что мы помяли траву, а вон там задели телегой за куст черёмухи и обломили несколько веток, с которых вяло свисали бесчисленные кисточки маленьких чёрных ягод.

Дядя Федя распряг лошадь, и та, видимо, не понимая в чем дело, оставалась стоять между двумя упавшими оглоблями. Тогда дядя Федя по-свойски, для порядка, хлестнул нерасторопную кобылу концами вожжей, и она, тоже без зла, легонько брыкнула задними ногами и, не спешно переступая, пошла к ближайшим кустам, где в небольшой низине и трава погуще, и тени побольше.

Лениво прихватив мягкими губами разок-другой лесного разнотравья, она повалилась на бок, потом опрокинулась на спину и начала кататься по лужайке: то ли ради озорства, то ли отгоняя вечных врагов своих и постоянных спутников – слепней.

Дядя Федя пошарил в сене и вытащил из телеги узелок. В батистовом в горошек головном платке был завязан обед: увесистая коврига ржаного хлеба свойской выпечки, большая луковица и кусок сдобренного крупинками соли домашнего сала. Хитро подмигнул мне, и, нырнув рукой в привязанное под телегой ведро с остатками овса, вытащил четвертинку водки.

Всё было готово к обеду.

– Ну, что, заморим червячка? – пригласил меня дядя Федя.

Я тоже потянулся за узелком, который собрала мать. Но что она могла собрать, когда в доме пять голодных ртов мал-мала-меньше, а десяток кур, которые в этом году перезимовали у нас под печкой, сельсовет давно описал за невыплату налога по самообложению... Два куска чёрного хлеба с отрубями, реденько пересыпанные сахарком – ох, как вкусно! Да бутылка квасу, уже спитого, но ещё не утратившего кислинку.

Дядя Федя краешком глаза посмотрел на моё богатство и положил мне сверху на хлеб розовый на свежем срезе пласт сала, отмахнув ровно половину от своего куска. Как можно отказаться! Оно так хорошо слоилось, было таким сочным и мягким, что я и сам не заметил, как сало юркнуло в мой желудок.

Вытащив газетную пробку, дядя Федя посмотрел ещё раз на меня, о чём-то подумал и тут же опрокинул себе в рот содержимое четвертинки. Наверное, он тоже не заметил, как булькнула в его желудок эта самая четвертинка. Мотнув головой, он задумчиво понюхал хлеб, потом положил на него сало и стал жевать, прикусывая бутерброд белой большой и брызгающей соком, как яблоко, луковицей.

Лес, по всей видимости, перестал нами интересоваться, и теперь деревья где-то там, вверху, пошумливали, решая извечные вопросы. Я поднял голову: в самой сини раскачивались большие мётла деревьев, словно подметали и без того чистое небо.

4

Дядя Федя выпростав из пыльных кирзовых сапог ноги, размотал и повесил на телегу в тёмных подтёках портянки, от которых сразу потянуло баней и вчерашними щами. Присел, прислонившись спиной к колесу телеги, закрыл глаза и тут же захрапел. Красные, с толстыми ногтями пальцы ног выглядывали из травы, как желторотые птенцы какой-то незнакомой совершенно птицы.

Мне спать вовсе не хотелось, и я, чтобы не разбудить своего благодетеля, спотыкаясь босыми ногами о жестяные сосновые шишки, разбросанные повсюду, подался к черёмухе. Сдавивая в горсть ягоды, я высыпал их в рот, смело похрустывая косточками. Через несколько минут рот мой как будто кто набил шерстью. Язык стал жёстким и его пощипывало.

Повернув обратно к телеге, я лёг навзничь и стал пристально смотреть в небо. Деревья, взявшись за руки, закружились вокруг меня и я поплыл в зелёной колыбели к неизвестной пристани.

Проснулся я от лёгкого толчка ногой в бок. Дядя Федя стоял передо мной, застёгивая после малой нужды военного покроя брюки-галифе. Рядом со мной лежал почти полный картуз лесных ягод.

– На-ка, побалуйся, пока я лошадь запрягу. До вечера, гляди, успеем. А твой дядька в Тамбове на какой улице живёт, знаешь?

– А чего не знать-то! В самом центре. На Коммунальной, прямо возле базара.

– А-а! Ну, это ничего. Мне как раз мимо ехать, там я тебя и оброню.

Дядя Федя, конечно, знал, где живут мои родственники, а спрашивал так, для порядка. Моя мать заранее ему весь путь обговорила. Я-то знал...

Лошадь топталась в сторонке, лениво постёгивая себя хвостом по бокам; захватывая траву, она почему-то мотала головой и время от времени недовольно отфыркивалась.

Дядя Федя, легонько похлопывая кобылу по гладкой шёлковой шее, подталкивал её к телеге.

В картузе, вместе с красной в пупырышках земляникой, голубела мягкими присосками ягода-черника. Пока мой сопровождавший возился с упряжью и ладил оглобли, я захватывал полными горстями из картуза ягоду, сыпал в рот и захлёбывался сладостным соком. Столько ягоды я никогда в жизни до этого не то чтобы не ел, а даже не видел. В степном нашем продутом и пропылённом родном селе, кроме пышных густых кустов лозняка по берегам теперь уже оскудевшего Большого Ломовиса, как я говорил, ничего не росло. Даже палисадников возле домов, и тех не было – за время войны пожгли все...

Вытряхнув в ладонь последние ягоды, я кинул картуз в телегу, и тут же перемахнул в неё сам. Дядя Федя, подняв картуз, похлопал им себе по колену и натянул на голову. Мы снова тронулись в путь.

После короткого сна, такого же короткого обеда и сладкого десерта было гораздо веселее жить. Вот подъедем мы к большому красного кирпича старинному двухэтажному дому с парадным подъездом, поднимусь я по широкой деревянной выскобленной ножом жёлтой лестнице, вот отсчитаю по коридору пятую налево дверь, вот постучусь аккуратно согнутым пальцем, а мне скажут: «Входите!», вот войду я, и присядет тётка передо мной на корточки, вот схватит меня тёплыми мягкими ладонями за щеки и скажет: – «Ай, кто приехал!»

А дядя будет сидеть в углу в своей вечной гимнастёрке, и легонько похохатывать: – Макарыч на харчи прибыл! Ну, давай, давай, садись за стол. Как не хочу – не захвачу. А-садись! Как раз и захватишь!»

И будут меня угощать ситной булкой белой – ну, как вот руки у моей тёти-крёстной Прасковьи Фёдоровны. И будет чай из блюдца. И будет с печатями и двуглавыми орлами свистеть

весёлый самовар. А дядя Егор – крёстный мой, будет опять похохатывать, щёлкать маленькими плоскими кусачками крепкий, как тёткины зубы, сахар-рафинад. И буду я, не спеша, легонько по-городскому, двумя пальчиками, брать этот сахарок, класть в рот и схлёбывать шумно, со вкусом, коричневый пахнувший угольками фруктовый чай, и буду тоже запрокидывать голову и улыбаться. Дядя Егор будет расспрашивать про отца – они с ним братья, вздыхать, вспоминая старое время, и потихоньку материть Советскую Власть. Но я об этом ни-ни! Молчок! Никому не скажу. На что вон Филиппович, человек грамотный, наш колхозный бухгалтер, тоже ругал Советскую власть, и над ним, не сжалились, забрали. До сих пор не вернулся. Говорят, на Колыме свинец добывает...

Вдруг меня толкнуло с такой силой, что я вывалился из телеги. Какая-то коряга так ухватила за колесо, что спицы – «хры-хры-хры» посыпались, как гнилые зубы. Телега завалилась на бок, и ехать дальше не представлялось возможным.

Дядя Федя стоял у телеги и скрёб пальцами под картузом. Потом взял лошадь за мундштук узды и повернул снова на полянку. Выпростав кобылу из упряжи и связав ей передние ноги, дядя Федя вынул чеку и снял колесо с оси.

– Ты пока тут ягод пошарь, а я с колесом до мастерской добегу. Километра два всего-то тут до Козывани. Ничего, доедем до твоего Тамбова, смеркается теперь поздно.

Он надел полупустое колесо на плечо, как вешают коромысло, и пошёл искать дорогу.

Я удивился его недогадливости: ведь он мог сесть верхом на лошадь и мигом добраться бы до этой самой деревни, как её... Козывань.

– Дядь Федь, а на лошади быстрее! – крикнул я ему вслед. Он только махнул рукой, как бы отряхнув себя сзади.

Теперь-то я знаю, что у соседа был застарелый геморрой, а то бы не вышло так, как вышло...

Я улёгся у телеги и стал смотреть на старую сосну с облупившимся стволом. Оттуда, из-за редкой хвои, слышалась частая дробь, будто кто-то быстро-быстро вколачивал в сосну гвозди. Там, вверху, примостившись как наш монтер Пашка на телеграфном столбе, орудовал усердный дятел. Опираясь жёстким распушённым хвостом в ствол дерева, он, как припадочный, колотил и колотил головой о сучок. Мне было интересно смотреть, когда он отшибёт себе мозги и свалится наземь. Но он всё молотил без устали, прерываясь только на короткий срок. И в этом промежутке сразу становилось тихо: то ли жара сморила всю лесную живность, кроме этого молотильщика, то ли вся живность тоже принялась ждать, когда у него отвалится голова. Но голова у дятла оставалась на месте, а к моим ногам сыпались и сыпались мелкие опилки.

Скучая, я подобрал обломок тележного колеса, и, вооружённый этой палицей, пошёл рубить головки лопухам с листьями, похожими на ёлочки. Это был папоротник, но я тогда не знал его названия – лопух и лопух, только листья резные. Под этими листьями я увидел тут и там жёлтые смазанные маслом оладышки, которые росли прямо из земли. Весь их вид вызывал у меня непреодолимое желание попробовать их на вкус. Я сорвал один оладышек, снял с него прилипшую хвоинку и стая жевать. Вопреки моим ожиданиям, оладышек оказался безвкусным и отдавая сыростью. Есть его расхотелось. Выплюнув крошево, я отправился дальше. Лошадь паслась неподалёку, перебирая передними ногами мелко-мелко, как балерина на носочках. Травы было достаточно, ешь – не хочу, но наша кобыла выщипывала не всю траву подряд, а выбирала какие-то ей известные виды, и постоянно находилась в движении.

Пройдя несколько шагов, я остановился: впереди меня зашевелилась трава, и я с ужасом увидел, как передо мной, почти у самых ног, извиваясь, скользила, сама по себе, толстая чёрно-зелёная верёвка. Змея! Сработал инстинкт опасности, и я закоченело замер с поднятой палкой в руке, замороженный зигзагами. Верёвка прошелестела мимо, не обращая на меня никакого внимания, и только концы травинки обозначали её извилистый путь. Идти дальше сразу расхотелось, и я снова повернул к спасительному реду – телеге.

Рядом с телегой спокойно с хрипотцой пофыркивала лошадь, и мне сразу стало спокойнее. В небольшой лощине я увидел на кустах голубоватую ягоду, похожую на малину. Я сорвал одну и положил в рот. Кисло-сладкий сок обрызгал мою гортань. Быстро сняв с себя кепку-восьмиклинку, я стал собирать в неё ягоды. Кусты были настолько колючи, что я изодрал себе все пальцы, особенно с тыльной стороны.

Очень скоро я наполнил кепку до краёв, и, не дойдя до телеги, уселся на трухлявый пенёк и стал опустошать фуражку. Придавливая ягоду языком к нёбу, я сладостно высасывал из неё сок, а уж потом глотал мякоть. Вскоре я с удивлением обнаружил, что все мои пальцы измазаны в чернила, а сквозь фуражку проступили тёмные пятна.

Лошадь всё так же, помахивая хвостом, продолжала нащёптывать свои секреты траве. Далеко кукала кукушка. Стоял конец июня, самый разгар лета, когда у кукушек кончается брачное время, и она перестаёт считать чужие года. Это была, вероятно, холостая кукушка, которая в последней надежде призывала к себе жениха. Я спросил у неё: кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить на этом свете, но она сразу замолчала. Это нисколько не привело меня в уныние. Я опрокинулся на спину в густую прохладную траву и уставился глазами в клочкастую синеву неба. Где-то там, за верхушками деревьев, всё гудел и гудел самолёт. Самолёта не было видно, но, судя по звуку, летел где-то рядом.

У нас в Бондарях пустынное за больницей широкое поле использовалось с давних пор под аэродром, туда в обязательном порядке прилетал почтовый маленький фанерный самолётик с перкалевыми крыльями и с открытой, как мотоциклетная люлька, кабиной. Пилотами были молодые девчата, только что окончившие аэроклуб.

Мы, едва услышав стрекочущий звук, сбегались на лётное поле, чтобы воочию посмотреть на это чудо, и, опасливо оглядываясь, потрогать лонжероны.

Лётчицы относились к нам благодушно. Мы, мальчишки, встречали их цветами. И это им, окрылённым созданиям, вероятно, нравилось больше всего: ранней весной – жёлтые одуванчики, летом – ромашки, васильки, и, даже, хоть и колючий, но нарядный татарник; осенью – яркие кленовые листья чудом уцелевшего больничного клёна.

Лётчицы приветливо трепали нас за щёки, гладили по голове, то есть всячески проявляли извечный женский инстинкт материнства.

Одна такая лётчица, часто прилетавшая к нам в Бондари, особенно выделяла меня из кучки таких же чумазных и оборванных мальчишек. Сажала к себе в кабину, держала на коленях, позволяла братья за ручку управления с ребристым черным резиновым наконечником. Когда рычаг наклоняешь вправо или влево, хвост самолёта тоже поворачивался, как флюгер, скрипя тонкими струнами-тросиками, протянутыми с внешней стороны фюзеляжа,

Однажды, из школы проходя мимо аэродрома, я увидел стоящий вдалеке самолёт и завернул к нему. Не знаю, по какой причине, но та лётчица, что была со мной всегда ласкова, пыталась приподнять хвост самолёта, чтобы развернуть машину на ветер, или ещё по какой-то надобности. Я тут же с готовностью кинулся ей помогать. Вдвоём мы быстро развернули самолёт. Девушка сняла с себя чёрный кожаный шлем с заклёпками и толстыми тяжёлыми очками. Из-под шлема большими волнами пролились на плечи её с жемчужным отливом волосы. Сидя передо мной на корточках в темно-синем комбинезоне, со светлыми солнечными волосами, она озорно улыбалась, заглядывая мне в глаза. Красивее неё я никогда в жизни никакой женщины не видел. Она предложила мне забраться в кабину и сделать круг над Бондарями но я, почему-то заплакав, убежал от неё. Скрылся в прилегающих к полю густых кустах смородины, и ещё долго сладкие слезы текли по моему лицу, заставляя с неясной тревогой сжиматься моё маленькое мальчишеское сердце.

Может быть, в своём самолётике, кружащим сейчас где-то высоко над лесом, парит эта чудесная фея, сделавшая меня однажды таким счастливым.

5

Проснулся я от какого-то странного сопения, чихания, покашливания и возни за моей спиной. «Ну, слава Богу, наконец-то вернулся дядя Федя, и мы сейчас снова тронемся в путь. Чего-то он там так тяжело поднимает, колесо, что ли, на телегу ставит?» – подумал я, оглядываясь. Но, к моему удивлению, у телеги никого не было.

Пододвинувшись поближе, я увидел под телегой, там, где клочками лежало разбросанное сено, возилась почти круглая навакшенная сапожная щётка. Ёжик! Он забавно двигал из стороны в сторону носом с маленьким поросычьим пяточком, и черные бусинки глазок смотрели прямо на меня, ничуть не пугаясь. Но стоило мне протянуть руку, как эта щётка превратилась в надутый мячик, весь утыканный острыми шильцами с коричневато-жёлтыми кончиками. Руками взять его было невозможно, и я, подталкивая сломанной веткой этот игольчатый мячик поближе, с удивлением стал его рассматривать. Уже не было слышно ни сопения, ни похрапывания. Ёжик, оцетинившись, стал похож на безжизненный моток колючей проволоки.

В это время кто-то стал ломиться через чащу, сминая по пути сучья и ветки. Вот теперь это точно дядя Федя ворочается, но почему он так размашисто и тяжело ступает по мягкой лесной траве?

Вдали, в промежутках между деревьями, я увидел странное существо: то ли какая-то коняга с сучками на голове, а то ли, с ужасно длинными ногами, серого цвета, корова. Потом я догадался, что это лось, и хорошо, что он прошёл стороной. А то бы мне некуда было бежать, да и как убежишь от этого чудовища?

Пока я рассматривал лося, ёжик куда-то укатил, и рядом со мной стало пусто. Мне сразу сделалось как-то не по себе: а что, если рядом прячется волк, или рысь какая-нибудь, или кабан? Что мне тогда делать? Нет! Лучше забраться в телегу! Я взворошил остатки сена, нырнул туда и притих.

Телега была скособочена так, что я постоянно съезжал вниз, и приходилось время от времени, держась за жердину, подтягиваться к передку телеги.

Я с удивлением заметил, что в лесу стало просторно и тихо. Ползком, переваливаясь через поваленные деревья, ко мне подкрадывался туман. Стало сыро и зябко. Смеркалось, а моего сопровождающего всё не было. Я уже с беспокойством стал всматриваться в прогал между деревьями, в который так поспешно нырнул дядя Федя с колесом, как с коромыслом на плече. Но сколько ни вглядывался, прогал был пуст. Никого! И мне стало страшно.

Быстро начали сгущаться сумерки. Наступила ночь, и я остался в ней один на один со своими страхами.

Жуткая холодная и непроглядная темнота обступила меня со всех сторон, и в этой темноте зашевелилось, завздыхало, заухало и заворочалось непонятное и враждебное. Сердце моё под рубашкой колотилось так, что мне пришлось придерживать грудь руками. Я боялся, что ребра не выдержат и сердце разорвёт мою тонкую и бедную оболочку. Зубы помимо моей воли стучали и прыгали, и я закусил фуражку. Я боялся, что лесные духи услышат этот стук и слетятся сюда, думая, что это дровосек рубит топором их заповедный лес. Я, задыхаясь, старался сдерживать дыхание, прерывистое и резкое. Прислушиваясь к каждому шороху, я втиснулся в телегу, сжался в комочек, и дрожал так, что сотрясалась даже телега. А может, это мне просто казалось. На мне, кроме тонкой сатиновой рубахи, даже майки не было. Стояло лето, и мать как-то не подумала дать мне с собой, хотя и затёртую, но ещё не рваную телогрейку, которая была у меня на все случаи жизни.

Так и лежал я, сжавшись в комок в углу старой разболтанной телеги, укрывшись остатками сена. Мне стало ясно, что дядя Федя уже никогда не придёт за мной, и я навечно сгину в непроглядной тьме.

Сквозь отсыревшее и нисколько не греющее сено, сквозь вялые травинки, я с ужасом обнаружил красноватый отблеск пожара.

Ничего страшнее, чем пожар ночью, я до того не видел.

«Все! Лес горит!» – пронеслось у меня в мозгу. Я не знал, в какую сторону мне бежать, если пожар подобрётся совсем близко. Животный инстинкт боязни огня выбросил меня из телеги. Вверху над деревьями полыхало, но было тихо, не было слышно характерного для пожара потрескивания горящих деревьев. Запаха дыма тоже не было. Над головой, немного в стороне, сквозь черные мётла деревьев, высвечивала луна. Резкие тени стелились прямо под мои ноги. На этой светлой поляне меня стало видно со всех сторон. Это было похуже темноты. За каждым деревом прятался страх.

До этого я лежал под прикрытием ночи, и меня не было видно. А если и дышать потихоньку, то никто и не увидит. А здесь – вот я весь, бери меня!

Я не знал, куда сунуться.

Вначале я забрался под телегу в её тень, и сидел бы там до утра, умирая от холода и ночных страхов, но тяжёлое посапыванье за спиной придавило меня к земле.

Кто-то большой и чёрный стал, разгребая сено, возиться в телеге, что-то там выискивая. Это существо, не замечая меня, смело ворошило сено, гремя расшатанными досками прямо над моей головой. Потом громкое фырчанье и характерный звук от удара хвостом по телеге, привело меня в сознание. Наша кобыла! Как же я про неё забыл, путаясь в своих страхах.

Лошадь несколько раз хлестнула себя хвостом, и тут же завалилась возле телеги, спокойно и громко дыша. От неё исходила такая уверенность в себе, что мне захотелось спрятаться за её большое и тёплое тело. В этом добром домашнем животном чувствовалось что-то родное и близкое. Я ползком подобрался к лошади, и, прислонившись спиной к её тёплому животу, стал потихоньку приходить в себя.

Стало не страшно. Лошадь по-свойски хлётко огрела меня раза два влажным от росы хвостом, и затихла, легонько подрагивая кожей. В этой безоглядной ночи роднее, милосерднее и ближе существа, чем это животное, у меня не было. Запах её пота, смешанный с пахучей травой, был самым чудесным на свете.

Медленно согреваясь, я уснул. Сколько я проспал – не знаю, но, открыв глаза, уже отчётливо различал в белесоватом воздухе темнеющие деревья. Они, то ли спросонку, то ли по привычке, бормотали и бормотали, не переставая. Несколько раз свистнула какая-то птица. Лошадь, дёрнувшись, резко встала на ноги, и принялась сразу щипать мокрую от росы траву.

6

В воздухе чувствовался прежний холод, и я, чтобы согреться, стал бегать вокруг телеги. Быстро рассветало. Вот уже видны и кусты черёмухи с обломанными ветками, и наша вчерашняя колея в примятой траве, которая за ночь не успела подняться.

За этим занятием меня и застал дядя Федя. Он сбросил с плеча починенное колесо, и, присев на корточки, долго смотрел в мою сторону, как бы не замечая меня. Курил и молчал. Молчал и курил. Я, не жалуясь на ночное бдение, стал расспрашивать его, где он так долго был? Но дядя Федя, встав, коротко матюкнулся, как это делают все наши бондарские мужики, и стал ладить колесо к телеге.

Быстро восстановив подвижность нашего транспортного средства, мой провожатый впряг молча кобылу в оглобли, и мы, так же молча, тронулись в путь.

На тот раз в город я не попал. Так и не довелось мне погостить у родственников, наслаждаясь городской круговертью. К обеду мы были уже дома, в Бондарях. Дядя Федя что-то сказал матери про дорожные неполадки и невозможность доехать до Тамбова.

Позже я узнал, что наш сосед, быстро починив колесо в колхозной мастерской, возвращаясь обратно, заблудился, и потерял то место, где мы давеча остановились. То ли ему пришлось за колесо магарычи ставить и выпить с кузнецом лишку, то ли по рассеянности, но он искал меня всю ночь, где-то блуждая возле нашего пристанища, и только к утру случайно вышел на меня. Но я не в обиде на дядю Федю. Ведь мы так хорошо с ним ехали в город. Он – по своим делам, я – по своим.

А лес, между прочим, был чудесен...

7

Хорош город Тамбов, так хорош, что лучше не бывает! Дымы фабричные – рукавом по небу. Улицы мощёные. Машины снуют в разные стороны, только оглядывайся. Людей на улице – уйма! Вроде никто не работает. Каждые будни – праздник. На что только живут здесь? И хлеб белый едят... Дома со ставнями. Не как у нас на селе, где всё нараспашку – гуляй ветер!

Хорош город Тамбов, а Бондари лучше: пыль на дорогах помягче, да и люди кругом свои: «Здравствуй дядя Федя! Здравствуй, дядя Ваня! Здравствуй, тётя Клаша!...» А тут все посторонние, спешат, торопятся, молчат друг с другом...

Иду я себе, посвистывая, до автовокзала, чтобы взять билет обратно на Бондари. Там теперь областная филармония, а тогда – гараж был. Скоро в школу. Автовокзал, конечно, громко сказано. Просто мастерская эмтээсовская, не больше!

Тапочки, подаренные крёстным, я снял и сунул в сумку с бабушкиными гостинцами.

«На тебе на мороженое!» – дядя, мой крёстный, похохатывая, но как-то реже и глуше после болезни, положил мне в руку бумажку. Теперь денег на дорогу у меня, о-го-го! Столько сразу не потратишь.

Взяв с первого же лотка на Ленинской площади мороженое в поджаренном, как хлебная корочка, стаканчике, я, поглядывая по сторонам, важничал, слизывал на ходу языком сладкую снежную пену, надкусывал краешек хлебного стаканчика, и, похрустывая, изнемогал от необыкновенного вкуса.

К этому времени я уже достаточно изучил город, меня часто посылали одного за солью, хлебом или ещё зачем. Однажды дядя мне даже доверил принести трёхлитровую банку пива, деньги на которую они с соседским мужиком кое-как наскребли.

Банку эту я, правда, донести не сумел. При попытке узнать, что такое – пиво, склянка выскользнула у меня из рук, и, до крови разmozжив большой палец ноги, разбилась вдребезги.

Для доказательства своей невиновности я бережно собрал мокрые осколки все до единого, сложил в сетку-авоську, и, прихрамывая, притащился домой.

Дядя оценил обстановку сразу. Улыбка недоумения быстро сошла с его губ. Зажав воротник моей рубахи в горсти, он тут же поволок меня в сортир.

«Всё! Будет бить», – подумалось тогда мне. Но дядя, повозившись в брюках, достал то, что надо, и стал поливать сочащуюся кровью мою ступню. Разбитый палец страшно щипало, я дёргался. Но из дядиных рук вырваться было бесполезно. Гигиеническая процедура была сделана.

К моему удивлению, после этой экзекуции кровь из пальца ноги перестала сочиться, и даже застарелые цыпки на ногах перестали чесаться. Дядин профилактический инструмент снова нырнул в брюки, и крёстный, шлёпнув меня легонько по затылку, отправился к моей бабушке просить деньги хотя бы на кружку пива.

...Город я уже знал хорошо, и, проглотив остатки мороженого, снова машинально стал выискивать лоток, где можно без хлопот купить столь удивительное по вкусу лакомство, которого у нас в селе никто не видел. Но рядом лотка не было, и я завернул к гаражу с пристроенной к нему мастерской, где отстаивались районные автобусы, бокастые, как обожравшиеся сочных зеленой коровы. Моторы их за решётчатыми радиаторами чихали и кашляли таким дымом, что у меня щипало в глазах и они стали слезиться.

Хорош город Тамбов! Хорош! Но меня почему-то при виде гаража и стоящих автобусов сразу потянуло домой, да так, что я, забыв про мороженое, кинулся со всех ног в билетную кассу.

Возле окошка кассы была длинная очередь, а стоять в очереди не хотелось. Ведь не хлеб же давали, где мне всегда приходилось долго и смиренно стоять, а домой страсть как тянуло. Мед-

ленно, но верно я протискивался бочком-бочком к самой кассе – такому маленькому, полукружьем зарешеченному окошку. Вот только стоит протянуть руку с моими рублями. Ну, ещё немного..., ещё!

Окошко загоразживала широкая спина какого-то дяди. Я – туда, сюда! Нет! Не дотянуться!

– Ах ты, паскудник! Щипачёнок грёбаный! По карманам шнырять? – дядька, обернувшись, выхватил у меня деньги.

– Ай! – коротко всхлипнула какая-то тётка и стала бить себя руками по животу и карманам плюшевого жакета, словно курица-чернушка крыльями, – вот они, деньги-то! Ишь, гадёныш! Так, смотрю-смотрю, он чего-то притирается, притирается. Цыганок приبلудный! – тётка быстрым движением руки вырвала у нерасторопного мужика мои, выданные родственниками на дорогу деньги, и быстро засунула за пазуху.

– В милицию его, щенка цыганского!

Моя от рождения смуглая да ещё загорелая за лето кожа с чёрными и начинающими виться лохматыми волосами, босые ноги, обманывали очередь.

Правда, «Цыганок» была моя всегдашняя деревенская кличка, и я всегда на неё охотно откликался.

– Вот до чего, твари, обнаглели! Середь бела дня, и – по карманам, по карманам, – не унималась тётка.

– Зарежет, сучонок! У нас в деревне был такой случай...

Но говорившего, какой кровавый и жуткий случай был у них в деревне, перебили:

– Вот только что милиционер был. Куда он подевался? Всегда так: чуть чего, а милиции нет!

Очередь сразу стала оглядываться и шарить вокруг себя глазами: действительно, куда милиция задевалась?

Я бы милиционеру всё объяснил, рассказал...

Широкая рука мужика прочно удерживала меня за плечо.

– Какая милиция?! Ещё в свидетели запишут, по судам затаскают – мужик одной рукой схватил меня за шиворот, а другой – за пояс коротких штанишек так, что жёсткий рубец крепчайшей холщёвой ткани больно врезался мне в промежность, а ноги сами собой оторвались от земли, и я повис в воздухе.

Мужик, немного качнув меня, выкинул в открытую дверь, и я, пропахал несколько метров на животе по влажному со вчерашнего дня песочку, оказался на улице. Рядом возводилась какая-то пристройка, и кругом был раскидан песок, что немного смягчило удар о землю. Я заплакал – нет, не от боли в мошонке, которую защебил рубец грубой ткани, не от боли в груди, которой я ударился: мне стало страшно. Страшно и обидно. Я здесь совсем чужой. Меня приняли за шпану, за карманника, за безродного вороватого цыганёнка, за попрошайку. А я, ведь собирался ехать к себе домой, к родителям, в Бондари, где меня любят и ждут. А меня вот так, с налёту...

Я поднялся, и, не отряхивая налипший песок, спрятался за соседние кусты, выглядывая, пока пройдёт вся очередь.

Люди разошлись, помещение кассы опустело, и я, бочком-бочком, имея в запасе не проеденные на мороженом деньги, подался к окошечку, и, оглядываясь, как бы кто-нибудь меня снова не принял за вора, тихо попросил билет до Бондарей.

Заветная бумажка оказалась у меня в руках, и я пошёл искать свой автобус.

Он уже стоял, недовольно фыркая двигателем и нещадно дымя, готовый вот-вот сорваться в дорогу. Дверь была открыта, и я нырнул в пахучую бензиновую утробу. Резкий запах табака, смешанный с бензиновым ароматом, будил какие-то неясные чувства, далёкие, и, несмотря на недавнюю обиду, радостные: дух странствий.

Позже, много позже, вспоминая этот эпизод моей жизни, я написал такие строчки: «Вечерами сентябрь соломенный и закаты плывут вразброс... О, автобусы межрайонные! Как печален ваш бывший лоск. У дорог, знать, крутые горки. У шофёров крутые плечи... Пахнут шины далёким городом, и асфальтом, и близкой встречей».

А боль, и та недобрая очередь, почему-то забылись сразу же, как только я сел на упругий чёрный дерматин пассажирского сидения.

8

Вообще-то впервые я оказался в городе года в четыре-пять, с моим родителем, насколько добрым, настолько и суровым в семейной жизни, как почти все наши мужики того времени: у кого руки-ноги нет, у кого темя, как у младенца не зажатым родничком дышит. Война на каждом сделала отметину...

У моего отца в ранней юности был выбит левый глаз. Как это случилось, мне рассказывала бабушка, а отец всегда отмахивался, когда я его спрашивал об этом. Только при случае, если крепко выпьет, то обхватит голову руками и тяжёлым грудным голосом поёт одну и ту же песню: «Выскресьня мать-старушка к вы-ра-там тюрьмы пришла, свы-я-му родному сыну пирри-дач-у при-не-сла-а-а...».

Так он пел.

Мать тогда валила его на лавку, укрывала старой ватиной, и долго ещё под ватиной слышались горькие слова протяжной песни вперемежку с матом, таким же горьким и глухим.

Вообще отец, когда был под хмельком, заметно добрел, и был по-своему нежен, из него можно было верёвки вить, что мы с матерью и делали. Зато в трезвом виде его не тронь! Отма-терит, как отстирает!

Однажды, собираясь проведать свою родню, отец решил прихватить и меня с собой в город: «Чтоб бабку, подлец, не забывал!»

И вот мы идём с вокзала, который, к моему удивлению и разочарованию, оказался совсем без колёс, а просто белый кирпичный сарай, набитый людьми, мешками, баулами и табачным дымом.

Отец в буфете немного принял за воротник, и я бежал теперь за ним, на ходу глотал, не успевая прожёвывать, закуску, которая ему полагалась после водки – сочащийся жиром блинчик, свёрнутый трубочкой и обёрнутый промасленной бумагой. Блинчик был таким, что я долго потом вспоминал его мясной вкус, исходящий луковым запахом.

Город тогда мне показался настолько огромным и запутанным, что я боялся, как бы отец не заблудился в мощёных камнем улицах и широких дорогах, и где же мы заночуем тогда?

9

А вот на тот раз, когда меня спутали с вороватым цыганком, я приехал в Тамбов с заветным адреском в кармане. Уже один. Уже большой. Уже умеющий читать названия улиц, и заблудиться ну никак не должен.

Стояло тяжёлое время, и меня, думали родители, надо было в летние каникулы как-нибудь подкормить, поправить после долгой голодной зимы.

Бегство в город было единственным спасением от раскулачивания семьи моего отца, и теперь в Тамбове жила его мать, моя бабушка, с сыном и дочерью – моими дядей и тётей.

Дед умер рано, и я его совсем не помнил. Говорят, мужик был хозяйственный и умный, но не вынес нищенского существования без привычных крестьянских забот.

В Тамбове мои родственники купили маленький домик на Ленинградской улице, в тупичке зелёном и мирном. Не то, чтобы они бедствовали, но жили тихо и небогато – на некоторые сбережения после продажи хозяйства и на дядину небольшую, но стабильную зарплату. Тётина зарплата в счёт не шла: так – «на шило, на мыло, на женские безделушки». Да, кажется, тётя к тому времени уже вышла замуж и жила отдельным хозяйством, но под одной крышей, и бабушке приходилось выкраивать ещё и на молодую семью...

Детская память настолько цепкая, что я шёл по тому старому маршруту от самого вокзала и сразу нашёл дом моих желанных родственников. Возле дома стояла водопроводная колонка, и я, плеснув несколько раз в лицо водой, вытерся рубахой и тихо постучал в дверь.

– Ах, мой касатик! Ах, моя ласточка! – бабушка Фёкла всё гладила и гладила меня по голове и всё подсовывала булку, густо намазанную вареньем, пока я, захлёбываясь, пил сладкий, «в накладку», чай.

Дядя сидел напротив меня в своей вечной гимнастёрке, он после войны остался служить в местном гарнизоне на какой-то незначительной должности, и всё похохатывал и похохатывал, безобидно подначивая меня моей деревенской конфузливостью и неумением прихлёбывать чай из блюдца. А на столе важным генералом, сверкая орденами всевозможных выставок и призов, пузатился и фыркал вёдерный самовар. Очень уж любили мои родственники пить фруктовый чай, заваривая крутым кипятком чёрный прессованный брикет непременно из самовара. Чай получался душистым, тёмно-красного цвета и кисловатый на вкус. Такого чая я больше никогда не пил.

Дядя, контуженный на войне, но ещё крепкий молодой мужик весёлого нрава, любил со мной по-товарищески поозорничать, и подшутить надо мной. Да и я его не раз разыгрывал, делая всякие, как теперь говорят, приколы над ним.

За один такой прикол, хотя дядя за него со мной вполне рассчитался, мне до сих пор смешно и стыдно. Переиграл я всё-таки мужика своей ребячьей хитростью.

За утренним чаем я поспорил с ним, что вот этим чапельником с обожжённой и засаленной ручкой, я его свяжу, да так, что он не сумеет шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Дядя, похохатывая, принял моё условие, сказав, что если ему не придётся освободиться, то он мне с первой же полочки купит ботинки, а то нехорошо по городским булыжникам шлёпать босыми ногами.

Летней обуви у нас в деревне тогда не водилось, и я, конечно, прибыл из Бондарей, обутый в собственную кожу, прочней которой на свете не существует. А то, что она кое-где пообтёрлась и в запущенных цыпках, то это не в счёт.

Связать палкой человека – проще простого.

Дяде и в голову не пришло, как это можно сделать. А делается это очень даже просто: надо положить человека спиной на пол, просунуть сложенные крест-накрест руки ладонями к груди в расстёгнутую на две-три пуговицы рубашку, затем поднять согнутые ноги к локтям

и под колени и локти просунуть подходящую палку метра полтора длиной – и всё. Никакими усилиями человек сам не сможет освободиться, если только не порвёт рубаху, что сделать в таком положении, почти невозможно. Попробуйте это со своим приятелем, и вы убедитесь в безотказности приёма. Мы, мальчишки, не раз проделывали друг с другом такие фокусы.

Бабушка ушла занимать очередь в булочную, приказав и мне позже следовать за ней, чтобы взять хлеба в два веса. А очереди, надо сказать, тогда были не просто большие, а огромные. Обычно люди приходили к магазину за несколько часов до открытия, и только где-то к обеду можно, если посчастливится, подойти к заветным весам. Эта обязанность всегда лежала на мне, но сегодня бабушка решила взять две отпускные порции, одной нам всегда хватало с натягом.

Как только бабушка ушла, я положил дядю, уже одетого для службы в галифе и в гимнастёрке, на обе лопатки, просунул в отверстие гимнастёрки, как и положено, его руки, продвинул между ними чапельник, а затем, не без труда, завёл за ручку согнутые колени своего крестного – и всё! Человек на приколе!

Дядя, кряхтя и похохатывая, остался лежать на полу, как перевернутый майский жук, ещё не совсем понимая всю сложность своего положения.

Я, весело посвистывая, беспечно выпорхнул на улицу и убежал следом за бабушкой в магазин.

Кстати сказать, стоять в очереди приходилось очень долго, и однажды у меня от напряжения так распёрло мочевой пузырь, а я, как все деревенские, был стеснительным и писать за углом в городе ну никак не мог – что потом, кое-как дотащившись до дому, ни за что не мог опорожниться, и моей бабушке пришлось идти за молоденькой медсестрой, только что окончившей медучилище, и она долго приспособливалась, зажав в руках мой секулёк, и всё совала и совала катетер, пока я орал и корчился от нестерпимой боли. Потом пришло облегчение.

До сих пор я содрогаюсь, вспоминая эти манипуляции. (Зато потом я долго гордился среди сверстников тем, что моё мужское достоинство однажды лежало в девичьих ладонях).

Так вот, я оставил похохатывающего дядю в позе майского жука, а сам преспокойно стоял в очереди с бабушкой вместе.

В этот день в булочной было особенно много народу, и нам пришлось стоять в очереди дольше обычного, за что я получил хороший, ещё тёплый довесок и теперь трусил вслед за бабушкой, перемалывая зубами вкуснейшую коричневую хрустящую корочку. Об утреннем приколе я и не вспомнил.

Дома меня ждало невероятное.

Дядя, с затёкшими ногами и руками, с выпученными на красном лице глазами, стонал и матерился, вертясь на одном месте, не как перевернутый жук, а, как шмель, когда его, отмахиваясь, сшибёшь на землю.

Бабушка с недоумением посмотрела на меня, потом не без труда вытащила чапельник, а дядя, перевернувшись на живот, цепко ухватил меня за щиколотку, и я всей кожей почувствовал, что он меня сейчас начнёт бить.

Одной рукой держа мою ногу, другой он быстро расстегнул широкий армейский ремень с тяжёлой медной бляхой и начал охаживать меня так, что бабушке долго пришлось его утихомиривать.

На службу он, конечно, опоздал, за что получил взыскание и денежный убыток – времена были строгие. Но уговор дороже денег! Как мы и спорили, дядя купил мне крепчайшие тапочки, пошитые из брезента, с подошвой из транспортерной ленты, в которых тот год ходил я в школу до самых снегов. Износить мне их так и не удалось – нога выросла.

Чувствуя свою вину, я, конечно, зла на дядю не держал, и он на меня, по всей видимости, тоже: «Кабы не денежный начёт, я бы тебе кожаные сандалии справил».

Дядя потом долго рассказывал сослуживцам о моей проделке, и сам как-то выиграл такой спор, только на бутылку водки, у соседа-однопольчанина: за что купил – за то и продал. Подсмеиваться надо мной он стал реже, хотя всегда шутил с добродушием.

10

Жалко дядю, он мне доводился крёстным, ушёл рано – подвело сердце – то ли сказала контузия, или случай, сыгравший с ним роковую роль.

Дядя конвоировал двух заключённых преступников из местной тюрьмы на вокзал к этапу. Стоял ясный летний вечер, привокзальная площадь была заполнена народом – пассажиры ожидали поезд, а гуляющие горожане отдыхали, пользуясь хорошей погодой.

Один из конвоируемых, качнувшись в сторону, быстро нырнул в толпу и зигзагами, сшибая ошалевших прохожих, уходил в направлении железнодорожного депо. Там, за мастерскими, он был бы уже недосыгаем.

Что делать? Бежать и ловить отчаявшегося на побег преступника – тогда другой, сделает то же самое. Упустить бандита – самого засудят и загонят за Можай, лет на пять-шесть, за пособничество.

– Не бойсь, начальник! Не убегу, мне жить охота, – сказал конвоируемый и тут же присел на корточки, сомкнув на затылке пальцы рук.

Толпа шарахалась от беглеца в стороны, образовав пустой коридор. До мастерских оставалось метров двадцать-тридцать, а там – лови, не догонишь! Но люди, люди снуют! Дядя скинул с плеча карабин и первым выстрелом с колена – ещё была не забыта боевая выучка – достал убегающего преступника и воткнул ему тяжёлую пулю промеж лопаток.

– Господь тебя спас! Господь! Не дай Бог, задел бы кого, ведь люди кругом! – сокрушалась моя бабушка, потерявшая на фронте самого младшего сына, Ивана. Лежать её Ивану, а моему другому дяде, в Витебских болотах вечно. Ни звезды, ни креста. – Господи! – вскидывалась бабушка. – Бяда-то, какая, бяда...

Дядя сидел за столом, тупо уставившись в одну точку, кривился, гонял туда-сюда желваки на скулах, будто кусал и никак не мог перекусить нитку. Сцепленные руки тяжело лежали на белой в чёрный крестик скатерти. Потом, охнув, поднялся, подошёл к лежанке на печи, где находилась до зимы всякая рухлядь, достал старый валенок и вытащил из голенища бутылку непечатой водки. Такой у него был загошник. Страхнув сургуч, он вылил бутылку в алюминиевую кружку и залпом выпил – бабушка слова не сказала. Выпил, и, молча стащив через голову гимнастёрку, лёг на кровать, уткнувшись носом в стенку. Гимнастёрка была в черных подтёках, коробилась жестью, будто дядя перед этим опрокинул на себя миску с протёртой смородиной.

Как раз перед этим бабушка принесла с базара целое ведро отборной чёрной смородины. Крупные ягоды лаково блестели на солнце. Поставив смородину в тенёчек за домом, бабушка велела мне обрывать с ягод «усики» – засохшие жёсткие соцветья.

Смородина была сочной, сквозь тонкую кожицу её просвечивала темно-красная мякоть. Такой смородины у нас в Бондарях не водилось, я это знал точно. Сады тогда были все наперецёт, и я их неоднократно обыскал. Кусты, если и попадались, жухлые, с жестяными листьями, смородинки на них были мельче горошины. За час можно собрать разве пригоршню. А бабушкина смородина была уже собрана и сама просилась в рот – ну, просто умоляла себя потрогать руками и языком.

Я с редким удовольствием согласился перебирать смородину, освобождая её от жухлых соцветий. Бабушка даже удивилась моему рвению. Она внимательно посмотрела на меня, вздохнула, зачем-то погрозила пальцем, и ушла в дом.

Работа закипела. Две-три смородины в таз – одну в рот, две-три смородины в рот – одну в таз. К моему удивлению, в тазу ягоды было ещё много, и она уже была готова к дальнейшей обработке.

Привернув мясорубку к столу, бабушка посмотрела в таз, не сказав ничего, снова вздохнула и велела мне прокручивать смородину.

Я крутил, бабушка сквозь мелкое сито ещё раз перетирали ягоду, и работа у нас шла чередом. В стеклянной трёхлитровой банке уже было достаточно густого тёмно-красного, почти чёрного смородинового желе, и бабушка пошла в чулан за сахаром.

Пока её не было, я наспех глотнул из банки, но не рассчитал и часть сока выплеснул на рубашку. Яркого пятна мне было уже не скрыть.

Чтобы бабушка ничего не заподозрила, я стал рыться в сите, в остатках смородины, нарочно вымазал себе рот, руки и подбородок в соке. Бабушка, вернувшись, дала мне подзатыльник, отчего сразу сделалось скучно и я потерял всякий интерес к работе.

Видя мою нерадивость, бабушка прогнала меня на улицу. На солнце пятна на рубашке зачерствели, руки стали липкими, и мне пришлось идти под колонку, ополаскиваться. Руки я вымыл, а про залитые пятна на рубашке совсем забыл, и бабушка потом их долго замывала в растворе каустика-соды – мыла не достать. Раствор делался таким, чтобы отмывало только грязь, и не разъедало кожу.

Химический ожог от невнимательности можно было получить запросто.

Так вот, пятна и подтеки на выгоревшей, белёсой от солнца и неоднократных стирок дядиной гимнастёрке тоже были бурые, почти черные, такие же, как от сока смородины.

До меня тогда не доходил весь ужас случившегося с дядей. Помнится, я даже завидовал ему, что он был на войне, что имел ранения и контузию, что у него есть настоящий карабин, и он может в любое время из него стрелять, и недавно убил бандита, пытавшегося совершить побег. А бандитов в то время я ужасно боялся. Ложась спать, я всегда просил бабушку посмотреть, крепко ли закрыты двери. Тогда об убийствах и грабежах взрослые только и разговаривали. В Тамбове вовсю гуляли шайки всевозможных блатарей.

Воры в законе были самыми легендарными личностями, ну, как, скажем, Чкалов, Ворошилов, Котовский...

За бандита дядя получил денежную премию и отпуск, но скоро его свалил сердечный приступ. Первый в жизни. Дядя тогда из него насилу выкарабкался.

Всякий раз, вспоминая моего крёстного, я вспоминаю и подаренные им тапочки на подошве из транспортерной ленты, которым не было износа...

11

А вот теперь, наскоро отряхнув штанишки от мокрого песка, вытерев обидные слёзы на щеках, я тут же забыл, что с полчаса назад меня ни за что вышвырнул дядька из помещения кассы, и теперь весело поглядывал в окошко автобуса.

Качнувшись и громыхнув сцеплением, автобус медленно тронулся, и мы выехали через улицы и переулки, через большой деревянный мост, на песчаную и пыльную дорогу, ведущую на Бондари.

Асфальта в этом направлении тогда не было, автобус, изредка пробуксовывая в колее, нещадно дымил, будто выхлопная труба выходила прямо в салон. Но мы ехали. Народу до Бондарей было мало: какой-то в выцветшей телогрейке дедок, несмотря на стоящую жару, да пяток женщин с кошёлками и узлами на коленях.

Я придвинулся к окошку, обозревая с любопытством пригородный лесной массив. Для меня, выросшего в степном селе, лес и до сих пор остаётся загадкой и святым местом. Плывающие в бесшумном и тихом танце за окном берёзки, тёмные крыши елей – таинственное и чудное царство природы. Совсем другой мир. Мир сказок и моих детских мечтаний, грёз...

– Манька, а Маньк? – от нечего делать, зевнув, обратилась к соседке сидевшая напротив меня рябоватая женщина в грубом сером платке ручной вязки. Платок был старый, с извилистыми тропками-бороздками – следами прожорливой моли. Баба держала на коленях чёрную клеёнчатую сумку, из которой торчали белые поленицы батонов. – Я вот что тебе скажу. Опять живот выше носа задирается? И как ты умудряешься всякий раз залетать? Одного, двоих настрогала, и – хватит! А то вон ртов сколько. Да разве этих оглоедов теперь прокормишь? Одних ложек не напасёшься. Ну, ты, прям – крольчиха!

– Да я что! Разве этих кобелей удержишь? Их с намордником только подпускать, – вяло улыбнулась её соседка с мятым, одутловатым лицом в коричневых разводах, как будто лёгкая ржавь по воде.

Соседка была явно моложе, но тоже в стареньком самовязаном платке, и в зелёном, грубой шерсти, тоже самовязаном жакете, застёгнутом на одну верхнюю пуговицу; нижние на животе не сходились, и полы жакета разъехались, показывая огромный раздутый живот, обтянутый темным сатином, где пуговицы были частые-частые, как на гармошке.

– Так вот, смотрю я на тебя и думаю: зачем это она в городе оказалась? Детей в школу провожать, а она в Тамбов поскакала. Чудно! – продолжала та, что сидела с клеёнчатой сумкой.

– Нужда заставила тащиться в такую даль, – опять улыбнулась ей горькой улыбкой та, что с животом. – По женскому в гинекологии была. Да что там! Нужны мы им. Они пощупали, пощупали, на рогачи поставили. Я думала: ну, всё, опростаюсь. А они говорят – «Носи!» Вот и ношу, – неопределённо развела руками. Конечно, тяжело придётся, ну какая я теперь работница? Корову за сиськи дёргать ещё можно, да куда я от мальчика? – женщина погладила себя по животу и отвернулась к окну. – Гляди-ка, мы уже Столовое миновали, к Марьевке подъезжаем! До Керши рукой подать.

Я посмотрел вслед за женщиной в широкое, в мелких трещинах, желтоватое окно автобуса. Стекло кое-где отслоилось, и в этих местах проглядывала чешуйчатая слюда.

Автомобильные стекла были двухслойные со слюдяной прокладкой, так что при столкновении с препятствием стекло не образовывало режущих осколков и не осыпалось, приклеенное к слюде.

Теперь слово «слюда», кажется, забыто. Технология автомобильных стёкол совсем другая. Стекло при ударе сразу превращается в крошево, наподобие колотого льда на осенних лужах...

В желтоватом окне был виден колодезный «журавель», которого за длинную шею держала девочка, примерно, моя ровесница, пытаюсь зачерпнуть ведром воду. Две косички раскачивались в такт движениям: «Пей! Пей, журавушка!» Но «журавель» упрямился, пить никак не хотел, и вдруг резко дёрнулся из колодца. Ведро взметнулось вверх, прыгнуло на цепи и закачалось маятником, окатив девочку с головой. Девочка щепотками вздёрнула платье, стряхивая с него воду. Из-под платья виднелись, как перевёрнутая рогатка, тонкие ножки, только по воробьям стрелять. Нет, я бы этого журавля осилил, я бы заставил его пить. У меня бы он не артачился...

Но вот уплыла незадачливая девочка с острыми коленками и двумя косичками без бантиков и ленточек, только узелки по концам, и всё. Это только в кино девчонки такие красивые и обязательно с бантиками, а в жизни они все одинаковые, с птичьими руками и всегда мокрыми губами, обмеченными по краям дурнотой, «заедами».

Показались низкие, под соломенными крышами, избы, нахохленные, как зябкие осенние куры. Многие были к зиме покрыты новой соломой – будет тепло и уютно в метельные дни.

Избы нырнули за частокол деревьев и скрылись из виду. «Марьевка» – название-то какое! Не хватает ещё «Ивановки», Иван-да-Марья – целый букет!

– Я вот что тебе, товарка, скажу. Ты меня слухай, слухай, и не отворачивайся. Чем детей-то кормить будешь? Трудодней – никаких. Бригадир за «так» палочки ставить не будет, да ты ему – ни посла родов, тем более теперь, годна не будешь. Кто пузо-то накачал, не он ли? Не Федька Шлёп-Нога? – услышал я заинтересованный шёпот той, что с клеёнчатой сумкой.

– Да нет. Куда я ему, у нас в Ивановке, – я обрадовался. Точно! Ивановка! Вот совпадение какое! Мне вспомнилось, что есть такая деревня – Ивановка – километров шесть-семь от Бондарей, но я там никогда не был, а слышать слышал, – У нас в Ивановке, – женщина смущённо передёрнула на животе кофту, – и без меня незамужних вдоволь. Косой не коси, сами ложатся. Война мужиков подобрала, а нам один хромой кочет достался. Ногу-то ему перед самой войной бондарец Лешка Моряк из-за Тоньки Улановой ломом перехватил. Точил на него зло Федька, а ему бы в землю Моряку поклониться надо. Он его, может, от верной смерти спас. Люди на войне головы положили, а этот до сих пор кочет-кочетом ходит. Должность хлебную получил. Один мужик на всю деревню: «Бригадир блины пёк, счетовод подмазывал. Председатель блины ел – никому не сказывал», – неожиданно повеселела женщина, даже ржавь на лице подтаяла.

– Ну, а если не Шлёп-Нога, то – кто? – баба от любопытства склонила на бок голову, заглядывая своей товарке в глаза.

Та снова передёрнула стягивающую её кофту и ничего не ответила.

– Во-во! Кто тебе помогать-то будет? Твоему насосу, кто тебя накачивал, может, свои оглоеды поперёк горла стоят. А тебе жить надо. Четверо на лавке, да этот – она небрежно хлопнула тыльной стороной ладони по животу соседке. Та тихо отстранила её.

– Не трави, Нюрка, душу, и без тебя тошно, – опять поскучилась беременная женщина.

– А я и не травлю. Помнишь Зинку Залётку? Как же, помнишь. Царство ей небесное. Быстро убралась, и пожить не успела. Та тоже вот родила недоношенного и мучилась с ним. И мальчонка мучается, и она. Пока её кто-то не надоумил этому недоноску под язык положить одну травку, – она на ухо тихо шепнула своей соседке название какого-то зелья. Та испугано отшатнулась, побледнев так, что ржавые пятна на лице совсем исчезли, и лицо стало похоже на застывшую маску.

– Что ты, Господь с тобой, Бог накажет. Как же это, ребёночка-то?

– А что ребёночек? Он заснул – и вся недолга. Ангелочком безгрешным на небо улетел, грязи-то на нем никакой. А твой-то, – она покосилась на живот своей напарницы почему-то с уверенностью, что будет мальчик, – неизвестно кем будет. Может, бандит бандитом. Ты на мово посмотри – дебошир и пьяница, пьяница и дебошир. Дурак дураком, как выпьет. Хорошо ещё меня не бьёт. Говорит: «Ты, мать, мной гордиться будешь. Я – как Ленин, – баба испугано

посмотрела по сторонам. – Я, говорит, как Ленин, мать-перемать, всё по тюрьмам да по ссылкам. А ты зудишь, зудишь. Дурак, говоришь? А я как иду по улице выпимши, то мне соседи в след охают: «Ох, хорош! Хорош, Мишка идёт!» А ты – плохой, да плохой! Так что не ссы, мать! – так и говорит – Не ссы, мать! – женщина с клеёнчатой сумкой так ударила кулаком по коленям, что чуть не рассыпала гостинцы на замасленный железный пол автобуса, и с обидой, поджав губы, отвернулась от беременной и стала уныло смотреть перед собой.

Автобус, миновав Кершу, снова нырнул в лес. Более половины дороги осталось позади. Позади остался и Тамбов с желанными родичами, с долгими стояниями в очередях, с полузабытой обидой за несправедливость на вокзале. Я вздохнул, вспомнив, что на прощанье забыл поцеловать бабушку. С дядей я попрощался за руку, как мужик с мужиком, а вот с бабушкой... В ушах стоял её голос: «Касатик мой! Ласточка моя быстрая! – это когда я приносил ей лекарство в постель, или выполнял ещё какую-нибудь просьбу. Бабушка была старая. – Восемьдесятый годок доживаю, слава тебе, Господи! – и крестится долго-долго, глядя на темно-коричневую от времени икону Божьей Матери. – Прости меня, Заступница Усердная, и сохрани чад своих неразумных. Накорми и обогрей их, заслони их платом своим пречистым. Отведи от них лихоманку, – потом, посмотрев на меня, продолжала. – Пошли им усердия, поставь на путь истинный, оборони от войны, пожара и глада, заступись за них пред Престолом Всевышнего, дети они, как есть – дети!» – потом толкала меня к иконе, заставляла встать на колени и просить прощения у Бога – за грехи вольные и невольные, за неразумность в учёбе, за гордыню окаянную, и за многое-многое другое, чем виноват человек перед Господом...

Божья Мать сквозь потемневшую олифу доски смотрела на меня ласково, и, как мне казалось, улыбчиво, прощая все мои прегрешения.

Руки у бабушки были холодные, сухие, и крепкие, как клещи. Она всё склоняла и склоняла мою голову к самому полу, заставляя читать вслух «Отче Наш» – одну молитву, за которую Господь прощает даже отпетых грешников. «А тебя простит тем более, не успел ты нагрешить ещё... Ну, вставай, вставай! Иди мыть ноги и ложись спать. Утром рано разбужу, за булками пойдём», – она сама, кряхтя, поднималась с колен, поправляла лампадку и уходила к себе в маленькую, без окна, тёмную спальню, отделённую от моей комнаты занавеской.

Дяди обычно по вечерам никогда не было дома. «Ухажорит», – говорила про него бабушка. Дядя приходил, когда я уже крепко спал.

12

Дорога через лес была песчаной, взрытой грузовиками, и наш автобус утопал по самые колеса, ехал медленно и с натугой. Из леса тянуло прохладой и грибной сыростью. Я с жадностью всматривался в прогалы между деревьями, пытаюсь увидеть что-нибудь необычное, но в окне, кружась, переступали стволы деревьев да тёмные кустарники с пожелтевшей листвой.

Лес кончился так же, как и начался – сразу. В один миг стало светло, как на солнце, хотя день и был пасмурным. Впереди показалось село с обезглавленной церковью, большое и раскидистое, почти как наши Бондари. Это был Пахотный Угол, где я встретился с ней, первой, очутившейся в беде женщиной, заставившей сжаться моё детское мужского начала сердце.

Сквозь стекло, возле сломанной пополам ветёлки, ветер ли свалил, или кто заломил её так, ради баловства, проходя мимо, я увидел двух женщин. Одна из них, пожилая, в чёрной стёганой безрукавке – отчаянно махала руками, подавала знак шофёру остановиться. Рядом со старой женщиной, одной рукой держась за надломленную ветку, стояла, покачиваясь, молодая, в лёгком, цвета мокрой травы платье, обдуваемом ветром, как будто его обладательница куда-то стремительно летела и не могла остановиться. Лёгкий крепдешин, пеленая её фигуру в зелёные пелены, прилипал к телу, облекая полукружью груди, свод живота и паховую область, пробуждая в моём подсознании досель неизвестные мне инстинкты. Старая, оглядываясь, что-то резкое говорила молодой, и снова начинала махать руками.

Шофёр притормозил как раз перед ними.

Молодая, с белым батистовым узелком в одной руке, неуверенно хватаясь за поручень другой, нет, не вошла, а как-то просочилась в приоткрытую дверь.

Старая, зачем-то прикрыв ладонью рот, всё крестила и крестила молодую в спину.

Слабо улыбаясь накрашенными губами, вошедшая растерянно посмотрела вокруг, и медленно, боясь как будто что-нибудь расплескать, опустилась рядом со мной на сидение, всё так же придерживая узелок руками, будто там находилось всё самое ценное, что у неё было. Лицо её вдруг побледнело так, что белая пыльца пудры резко выделялась на щеках, а улыбка стала похожа скорее на размазанную помаду, чем на проявление чувства.

Не знаю почему, но на меня сразу повеяло холодом, и стало зябко, хотя на улице и в автобусе было сравнительно тепло. Как будто холод исходил от самой женщины, или от её узелка. Я инстинктивно отодвинулся к окну, сунув к себе меж колен руки, словно их прихватил мороз. Гладкая причёска и воткнутый на затылке гребень, полукруглый и коричневый, открывали такие белые, такие тонкие, как бумага, уши, что висячие золотые якорьки серёжек, казалось, вот-вот оборвут их. Женщина как-то сразу откинулась на спинку сидения и склонила на бок голову. Сбоку мне было видно, как подрагивает её веко.

Автобус, качнувшись, тронулся, и мы поехали дальше. До Бондарей теперь было рукой подать, и я с нетерпением стал всматриваться – не покажется ли наша церковь с голубым, как раскрытый парашют, куполом.

Церковь всегда показывалась первой, с какой стороны ни подъезжать к селу.

Коротко стриженные, обкошенные поля, золотились стерней. Как сараи под соломенными крышами, среди полей стояли стога. Взгляду не во что было упереться, и я снова посмотрел на сидящую рядом женщину. Казалось, она заснула, и я почему-то вздрогнул, боясь, что она никогда не проснётся. Дыхание её было настолько слабым, что грудь под тонким крепдешинном совсем не колебалась, только ниже, где-то под ложечкой, часто-часто пульсировал родничок.

– Ишь, барыня развалилась! – недовольно заворчала говорливая женщина с батонами. – Малого к самой стенке притиснула. С гулянок, видать. Уморилась, как же, под лопухами.

– Да, ладно тебе, Ньюрашка, ворчать да злиться, кабы сама молодой не была. Видишь, девке нехорошо, может, хворающая она, а ты на неё – с градом! – Беременная соседка жалостливо поглядывала на вошедшую.

– Как же, хворающая! Мы эту хворь знаем, сами по молодости хворали, когда залетали нечаянно, – не унималась первая.

«Куда это они залетали? – думал я. – Самолёты к нам садились только почтовые, с маленькой открытой кабиной, где второму человеку не поместиться. Там одному-то сидеть тесно. А эта баба даже по молодости вряд ли поместилась бы там...»

Что-то тёплое и липкое стало просачиваться под меня, и я инстинктивно провёл по сидению рукой. Моя ладонь и мои пальцы были в красном смородиновом соке. Сидящая со мной женщина, наверное, опрокинула свой узелок, а там была банка с вареньем – вот сок и протёк. Но узелок у женщины на коленях был чистым и легонько покачивался в такт движению автобуса. Я посмотрел ещё раз на сидение: по тёмному дерматину растекается смородиновый сок, точно такой же, как делала моя бабушка.

Я осторожно потянул женщину за рукав, показывая глазами на сидение. Та, как будто очнувшись от глубокого забытья, ещё не понимая, что я от неё хочу, вопросительно посмотрела на меня, потом перевела взгляд на мои руки и на мокрый ржавого цвета дерматин. Глаза её расширились от ужаса и стали совсем чёрными. Она растерянно полезла в свой узелок, вытащила расшитый цветами душистый носовой платок и стала быстро вытирать мои пальцы и сидение, потом рука её в отчаянье опустилась и безвольно повисла, выронив платок на пол, к самым ногам той женщины, которую беременная баба называла «Ньюрашкой». Та, видимо, поняв, в чём дело, стала нехорошо кричать и ругаться, называя мою соседку «ковырялкой».

– Мальца, – это она про меня, – заразит, гадость такая! В милицию её бы сдать, а не в больницу везти. Мы по восемь человек рожали – и ничего, обходились. А эта подпольный аборт сделала, сука такая! Живого человека искромсала.

Моя соседка умоляюще посмотрела на меня, хотела приподняться – по зелёному крепдешину цвета мокрой травы расплывались тёмные, почти черные пятна.

– В милиции её вези! В милицию! – уже обращалась «Ньюрашка» к шофёру, пожилому мужику в армейском кителе с радужной разноцветной планкой на груди.

– Да замолчи ты, балаболка! Видишь, девка концы отдаёт, её спасать надо, а ты, трепло, в милицию!

Беременная женщина жалостливо поправила подол моей соседке и недовольно толкнула в бок «Ньюрашку».

Шофёр, ещё раз оглянувшись на перекошенное то ли от горя, то ли от боли меловое лицо женщины в крепдешине цвета мокрой травы, и передёрнул рычаг скоростей, утопив педаль «газа» до самого упора.

Автобус, вихляя по дороге и обходя выбоины, мчался изо всех машинных сил, закручивая позади себя пыль, к нашей районной больнице.

Мы въезжали в Бондари. Уже высматривать голубой купол церкви было поздно: церковь вся целиком стояла передо мной.

Автобус, свернув с дороги направо, влетел в больничный двор. Шофёр, толкнув дверь, выскочил на землю.

Дверь, громыхнув железом, заходила из стороны в сторону. Через минуту двое мужчин в белых халатах и одна женщина быстро шагали к нам. В руках одного были складные брезентовые носилки.

Пощупав на шее моей больной соседки сонную артерию, женщина-врач властно командовала разворачивать носилки и срочно нести женщину в операционную.

Я бочком-бочком стал выбираться из автобуса, освобождая проход врачам.

Когда выносили соседку, я видел, как красный сок смородины, сок уходящей жизни, пропитав брезент, все капал и капал в пыль.

Лето кончилось, впереди меня ждали школа и долгая-долгая холодная зима.

13

И вот теперь, в другое время, в другом месте, и на порядок старше себя – того мокрогубого и незаслуженно обиженного слишком бдительным мужиком на автостанции, я снова возвращаюсь в Тамбов, но уже в другом измерении.

Путь из Бондарей до Тамбова совсем ничего, всего каких-то 75–80 километров, но поездка в областной центр для нас была целым событием. Собирались загодя. Из Бондарей на почтовой машине, чтобы успеть к поезду на станцию Платоновка, отправлялись рано, часов в пять-шесть утра, а там, опять же на попутке, – до города Рассказово. А уж оттуда на автобусе, если погода позволяет, или опять же на случайной машине, отголосовав на пыльной дороге часа два-три, трястись в кузове до самого Тамбова.

...Итак, полуторка швыряла нас по дощатому кузову, как хотела. Чтобы не выскочить на обочину, мы со школьным товарищем, вцепившись руками в низкий шатучий борт, всеми силами удерживались там, где то и дело после очередного толчка приземлялись наши тощие зады.

Мы неслись на свидание с будущим.

На запаске со сношенными протекторами, привалившись спиной к кабине, сидел наш попутчик, судя по маленьким золотым крылышкам, вертушке пропеллера и звёздочкам на погонах – лейтенант воздушных сил, лётчик-ястребок. Летун был в хорошем подпитии, в самой золотой фазе; весёлый, разговорчивый, не показывающий своего превосходства перед нами, вчерашними школьниками, деревенскими ребятами. «Ястребок» шутил с нами, угощал «Беломором», небрежно выкидывая щелчком папиросину из бело-голубой пачки. Судя по всему, сам – недавний деревенский парень, он всё похвалялся перед нами своими успехами у женщин, и, видя нашу заинтересованность в этом вопросе, учил напористому, но галантному обхождению со слабым полом.

Как я убедился потом, наш старший наставник во многом был прав. «Они, тёлки, гладиться любят, подарки получать, цветы, разные блестящие безделушки. Вот, представь себе, что ты Миклухо-Маклай у папуасов. Усёк? Больше пыли в глаза, пыли, а потом, раз – и в дамках!» – он закатывал глаза, матерился, придерживал ладонью крылатую фуражку с «репьем», смеялся, подпрыгивая вместе с нами на дощатом скрипучем горбу полуторки, и обещал выпивку по прибытии в Тамбов. Лётчик был щедрым, и нам льстило его общение.

Всею душой, откликнувшись на бодрый призыв партии и правительства, мы с другом решили посвятить свою жизнь постижению рабочей профессии: «Славьте Молот и Стих, землю молодости!». Гегемон... Авангард... Могильщик капитализма...

В те времена, как эпидемия гриппа, пришла и распространилась романтика неустроенного быта, великих переселений молодёжи, ночёвок у костра, и тому подобное.

Целина уже почти освоена, вон в прошлом году такой урожай пшеницы собрали, что и сами не ожидали. Пришлось бурты с хлебом под зиму оставлять...

Целина освоена, теперь стране позарез нужны строители. Индустриализация требовала новых заводов, а новые заводы – новых рабочих рук, и деревня поставляла их городу так же исправно, как и всё остальное. Подхваченные весёлой, безоглядной вольностью, мы с другом неслись на самом её гребне.

Сумасшедший, неописуемый восторг переполнял всю мою сущность – свобода и воля!

А что до этого было?

Было, – что было: в школе бесконечные уроки с домашними заданиями, дома – отец с ремнём. Если я и знал какую-то волю – только на каникулах в гостях у тамбовских родственников, куда меня неудержимо влекло каждое лето, о чём я теперь вспоминаю с горькой усмешкой. Тогда меня мог до слёз обидеть колхозник на автостанции в очереди за билетом. В другие

«тамбовские» каникулы я был совсем другой, и всё благодаря Муне, другу моему старшему. Не всё так однозначно в юном, подростковом возрасте. Не всё...

14

В начале пятидесятых город кишел ворами. Днём донимали «щипачи» а по ночам – «домушники». Жители, проверив запоры на дверях, ложились спать, опасливо поглядывая на окна. Хорошо у кого были ставни: запирай изнутри винтами, все-таки – надежда.

Обыватели паниковали недаром. Бывало и такое, что при грабежах вырезались целые семьи. От слухов, один страшнее другого, цепенело сердце.

Пытались ограбить и моих родственников по матери, живших в то время на отшибе, возле Петропавловского кладбища. Брать у них было особенно нечего: печь посреди избы, да за печью, в углу, на старинном комод, трофейный баян, отделанный костью и перламутром. На нём иногда, подвыпив, играл «Амурские волны» покалеченный войной дядя Ваня, деверь сестры моей матери. Так, кажется, называется в русской семейной иерархии брат мужа.

Печь, как известно, не уведёшь, а дорогой баян кому-то здорово пришёлся по вкусу.

Предварительно закрутив проволокой двери, чтобы хозяева не могли выскочить на улицу, бандиты принялись выставлять окно. Услышав подозрительную возню и осторожное царапанье, проснулся дядя Ваня и заколотил костылём в переборку, за которой – дом был на два хода – жил его родной брат Сергей Иванович, случайно отлетевший осколок антоновской оравы. Тот, разбуженный стуком и криками, выбежал на крыльцо с винтовочным обрезом. И только выстрелы отпугнули домушников.

Утром пришёл милиционер, рассматривая выставленную раму, что-то замерял и, обнаружив кровь на штакетнике палисадника, долго чесал в затылке. Помощи от него, конечно, ждать не приходилось, но всё же как-то спокойнее. Может, на следующую ночь воры и не посмеют...

В большом беспокойстве жил город.

Ходила такая поговорка, что Одесса – мама, Ростов – папа, а Тамбов дядей будет. Бериевская амнистия отворила плотину лагерей, и урки хлынули на волю, растекаясь по своим «хазам» и «малинам», обогащая «феней» – блатным наречием – великий и могучий русский язык.

Лагерные байки возмущали детские души, бредили ещё не осознанные чувства, уводя нас, подростков, в дали неоглядные.

Те времена были пропитаны романтикой говорливого воровского быта, удачливости и своеобразного кодекса чести. На экранах шёл невиданный по своей популярности индийский фильм «Бродяга», подливая масло в огонь и разжигая нездоровый интерес к преступному миру.

Самой модной одеждой были брюки-клёш и курносые кепки-восьмиклинки с большой пуговкой наверху – «бобочки». Ну, а если ещё и вязаная тенниска в полоску с коротким замочком «молния», то это – вообще шик и полный отпад, как теперь говорят.

Кепочку на глаза, руки по локти в карманах широченных бостоновых брюк, по-блатному – «шкар», смятая «беломорина» в углу кривого рта, и нарочитая сутулость, как родовой признак, выражающий принадлежность к определённой среде – своеобразный аристократизм блатняков.

Мы с Толяном, моим первым городским дружкой, млели, увидев такого где-нибудь на углу улиц Коммунальной и Сакко-и-Ванцетти, ныне снова переименованную в Базарную.

Толян, заворожённый блатным шиком, заговорщицки шептал мне, неразумному:

– Смотри, смотри – это Пыря хиляет. Его прошлым летом мусора на отсидку замели, мокруха на нём висела, а нынче он прохорями по воле топчет. Шкары на нём очковые... У меня тоже, век свободы не видать, скоро такие будут.

«Прохоря», «шкары», «бобочка», «хилять», «мокруха», «очковые» – значит, хорошие, и другие подобные слова и слоганы для меня были в новинку, как иноземный язык. Толян потом

снисходительно объяснял «феню», заручившись моим обещанием, что я где-нибудь все, «по фене ботать» не стану. «За это пиковину можно получить», – заговорщицки вталкивал мне, деревенщине, начинающий блатарь Толян по кличке «Муня».

Муня был старше меня года на два-три.

Чем-чем, а приобретённой кличкой он особенно гордился. «Кликуха» как паспорт – в ней всё! За то, чтобы получить этот «паспорт», Толян на прошлой неделе на «стрёме» стоял.

– Подельником был, пока кореша ларёк на «Астраханке» подламывали, – сообщал он мне по большому секрету, на ходу путаясь в широченных, на вырост, «шкарах» – обыкновенных сатиновых штанах на резинке. – Да если бы меня мусора замели и грозили бы «красную шапочку» сделать, опидорасить – не знаешь, что ли? – на мой вопрос резонно ответил он, – я бы и тогда подельников не вломил!»

Я начинал ему робко говорить, что педерастов уголовники презирают, и с ними после этого дел никто не имеет. Миску пробьют, из чего потом «хавать» будешь? Я особенно нажал на слово «хавать», показывая тем самым свою осведомлённость в жаргоне городской улицы.

Толян по-братски хлопал меня по плечу, объясняя неразумному, что он на этот случай в «очко» еловую шишку вставит. Пусть попробуют!

Вообще Толян меня тогда кое-чему научил. Кто я до него был? «Мужик, ломом подпоясанный», вахлак из Бондарей, а теперь знаю и «красную шапочку», и как ларьки подламывают...

Дядя Вова, отец Муни-Толяна, был «легавым», служил в «ментовской» в чине старшины милиции, но, вопреки или благодаря этому, связь Муни с блатарями была возможна.

Дядя Вова зачастую после службы приходил домой под хорошей «мухой», или, как говорил Толян, «на рогах», бранился по-чёрному, выгонял Толяна с матерью из дома в любую погоду, стрелял в воздух из нагана и всячески безобразничал. Соседи в милицию с жалобами на него не ходили, пообвыклись, и дядя Вова ещё носил погоны народных заступников и охранников.

Я жил в одном дворе с Толяном, и он, пока отец отбуянит, скрывался у нас, то есть у моей бабушки, у которой я проводил школьные каникулы. Сидел, поджав к подбородку колени, беспомощно грыз ногти и всё твердил, что он «пахану» когда-нибудь «перо вставит». На что бабушка испуганно крестила его, гладила обеими руками по голове, как обычно когда купают детей, и приговаривала: «Что ты? Что ты, Господь с тобой!»

Подрастал я, подрастал Толян, и подрастали наши увлечения. Бабушка жила на Ленинградской улице в глубине двора, в деревянном двухэтажном доме купеческого размаха, поделённом на множество квартир. Дом был окружён зарослями ивняка, кленовым молодняком и сиренью.

Голенастая и тощая сирень никогда не цвела, или, может, мы тогда не обращали на это внимание, не знаю, но на её листьях было множество изумрудно-зелёных, с радужным отливом, узких и длинных жучков, отвратительно пахнущих. Таких жучков я почему-то больше никогда не видел. Если их посадить в коробочку с отверстиями и несколько раз понюхать, то начинает кружиться голова. Меня даже от этого несколько раз рвало. Но Муня любил этот запах. Бывало, возьмёт коробочку в широкую пригоршню, поднесёт к носу и, закрыв глаза, долго сквозь сомкнутые большие пальцы дышит.

– Шпанская мушка! – видя мой заинтересованный взгляд, врасстяжку объяснял он. Глаза его в это время туманились. – Надо их высушить, растолочь, настоять, например, на морсе, и дать, ну, хоть Зинке этой выпить, то она сразу ляжет, и ноги в раскидку. Сама нам с тобой предлагать будет. Во! Сукой буду! – и Муня ногтем большого пальца, зацепив передний зуб, резко дёргал рукой. Что означало: клянусь!

Зинка – девочка из соседнего двора, вечно подглядывающая за нами сквозь щели в заборе, до того не вызывала во мне никакого чувства, кроме брезгливости.

Но всё это требовалось проверить опытом.

Однажды мы, отловив штук десять изумрудных тварей, передавили их для надёжности и выставили сушить на листе бумаги прямо на солнцепёке.

Я, с нетерпением ожидая результата, подходил к Толян и спрашивал его о готовности снадобья. Муня брал жучка, пробовал растереть пальцами, нюхал и говорил: «Рано!»

Но вот жучки спели, глянец с них сошёл, они стали тёмными и жухлыми, и были похожи на недозрелые семечки подсолнуха.

Толян принёс небольшой гранёный стаканчик, и, всыпав туда жучков, стал их растирать чайной ложкой. Получилась какая-то пыль, грязные ошмётки.

– У тебя на ситро есть, – почему-то утвердительно сказал он, – линияй!

У меня, действительно, в кармане была мелочь, и на ситро должно было хватить. На весёлое дело и денег не жалко!

Я мигом «слинял»: перебежал через дорогу в продуктовый магазин, где мы обычно брали хлеб. В магазине ситро не оказалось, и я взял бутылку морса, который стоил немного дороже, но, как я уже сказал, на весёлое дело кто пожалеет денег?

Толян откупорил бутылку, сделал несколько глотков, одобрительно кивнул головой и высыпал из стаканчика какие-то ошмётки в бутылку с напитком. Черные лохмотья плавали и никак не хотели тонуть. Умело закупорив бутылку, мой дружок несколько раз её встряхнул и поставил в холодильник, в сиреневые заросли, где всегда было сыро и холодно.

Дня через три, две соседские девочки – Зинка Модестова по прозвищу «Большая» и лупоглазая плаксивая Оля – пригласили нас с Муней поиграть в домики. На сложенных кирпичках, застеленных синей обёрточной бумагой, изображавших столик, были разложены кусочки хлеба, сахара, слипшиеся леденцы и нарезанный кругляшками свежий огурец. Было все, как дома. На столе стояли два стакана и бутылка простой воды. «Водка!» – сказали нам девочки, и мы с радостью согласились. Вот мы пришли с работы усталые, нас ждут, вот мы пьём водку, вот закусываем, вот шатаемся пьяные, орём песни, дерёмся и валимся спать здесь же, у стола на песочке. Всё – как в жизни.

15

Играть с девочками я не любил, но Толян согласился тут же, и, толкнув меня в бок, незаметно кивнул в сторону кустов. Я, сделав вид, что пошёл в магазин за морсом, обогнул заросли, достал бутылку с нашим напитком и снова через калитку вошёл во двор.

Все дружно захлопали. Особенно сильно хлопал Толян, по лицу его расплывалась глупая улыбка, он со значением подмигивал мне и притоптывал на месте с нетерпением приступить к делу.

Оставалось только угостить наших хозяек морсом – и всё. А потом, если хватит смелости, можно поиграть и в молодожёнов.

Толян, взяв у меня из рук бутылку, скovyрнул зубами металлический нашлёпок, и, выплеснув из стаканов воду, аккуратно, чтобы отстой не попал в посуду, наполнил их нашим питьём.

Оля, подозрительно показав на бутылку, сказала, что она, наверное, морс пить не будет, там чего-то плавает...

– А-а, это фабричный отстой! Морс из фруктов делают, вот и плавает... – Толян беззаботно махнул рукой и первым выпил стакан, поставил его на кирпичи, затем поморщился, словно выпил чистейшего спирту, зацепил кусочек хлеба, положив на него кружок огурца, жмурясь, занюхал, и, сунув в рот, стал усиленно жевать.

Зина Большая тоже, махнув рукой, изображая из себя пьяницу, залпом опрокинула стакан и с размаху поставила его. Один из кирпичей подвернулся, и бутылка, звякнув, упала на него и раскололась.

Оля плаксиво уставилась на пенистую лужицу, промямлив, что ей «водки» не досталось. Я погладил её по спине, сказав, что завтра обязательно ей принесу настоящее сидро, и без отстоя.

Зина Модестова, по прозвищу «Большая», не успела прожевать кусочек хлеба, как глаза её расширились, она побледнела, сложилась пополам, хватаясь за живот, и из неё фонтаном выбросило всё наше снадобье.

Потом мне пришлось отпаивать её бабушкиным компотом. А Толяну – хоть бы что!

– Дозу перебачил, переборщил – сокрушался он, – а то бы Зинка с Олькой наши были. Сукой быть! – и он снова зацепил ногтем большого пальца передние зубы и сплюнул.

16

Вообще Муня был большим выдумщиком. Мужские гормоны в нём играли почём зря. Четырнадцать лет – пора созревания. В это время разница в год-два возраста особенно заметна и непреодолима. Толян во всем был для меня недосягаем.

Купаться мы ходили на лодочную пристань, что располагалась под крутым спуском, заросшим лопухами и крапивой берега Цны. Как раз там, где сегодня располагается технический университет, а в те времена это было здание суворовского училища. Будущие офицеры с городскими ребятами не якшались, и купаться ходили организованно, строем, под барабанный перестук, на оборудованный для купание берег выше пристани, где и мы с Толяном купались. Туда же, к суворовцам, покрасоваться и пофасонить, сбегались молоденькие купальщицы со всего города.

А как не сбегаться?! Там прямо из воды вставали вышки для прыжков в воду, дно каждый год чистили, плавательные дорожки были огорожены толстыми канатами, на которых можно хорошо покачаться. Да и романтические надежды на свидания будущих красавиц давали о себе знать. Были даже две металлические кабины-раздевалки, разделённые тонкой переборкой – мужская и женская.

Мужская раздевалка обычно пустовала, а в женскую постоянно туда-сюда шныряли девочки посекретничать или отжать выцветшие на солнце за лето купальники, маленькие чашечки которых уже будили моё, ещё не устоявшееся, воображение.

Мы с Толяном ходили туда больше поглазеть на праздник жизни, а купались на лодочной пристани, ныряя между трущихся бортами плоскодонок. Из-за отсутствия трусов мы купались нагишом, распугивая серебряных мальков, которые в панике выстреливались из воды, высверкивая на солнце.

Однажды Толян сидел-сидел, глубоко задумавшись, раскуривая подмокшую папиросину «Север», пачку он прятал под восьмиклинку-бобочку – и мать не увидит, и курево не мнётся. Сидел-сидел Муня и быстро с хрипотцой сказал: «Пойдём!». И мы пошли в сторону купальни, где ойкали и визжали девочки, барахтаясь в воде и раскачивая толстые, как жерди, канаты. Там было весело. Муня прибавил шаг.

Я на ходу тараторил в спину другу, что нам без трусов – как купаться? Засмеют или, того хуже, набьют морду. Вон там их, краснопёрых, имея в виду суворовцев, сколько!

Толян, остановившись, хлопнул меня по затылку ладонью и сунул обсосанный чинарик мне в рот:

– Кури и не кашляй!

...Мы лежали на зелёной травке возле женской раздевалки, посматривая на голенастых цыплячьего вида девчонок примерно нашего возраста. Мне было скучно. Посиневшие, тощие в пупырышках лодыжки меня не взволновали. Но Толян, судя по всему, что-то соображал. Ноздри его раздувались, глаза бегали туда-сюда, кадык на тонкой шее двигался, острый и выпуклый. Муня жадно сглотнул слюну, закурил папиросу, цвиркнул в сторону гомонящих девчонок длинную струю и нырнул в мужское отделение раздевалки. Я двинулся за ним, недоумевая, зачем ему вдруг понадобилось идти туда.

В раздевалке было прохладно и сыро и пахло рыбой. За перегородкой теснились девочки, и их короткие смешки, видно, насторожили моего друга. Он зашарил глазами по загородке, отыскивая щёлочку посмотреть: над чем они там хихикают?

В железном листе щелей не было, а отверстия не просверлишь, а посмотреть очень хочется.

Пошарив для верности по ржавому листу руками, Муня присел на корточки. От земли до переборки было сантиметров двадцать – не увидишь! Тогда Толян опрокинулся на спину, оглядывая снизу костистые лодыжки юных купальщиц.

Мне тоже было интересно, но на моей стороне натекла целая лужа, и лежать в грязи не будешь. Я шёпотом стал спрашивать Муню: «Ну, что там?». Муня двинул меня по ноге, и, пригрозив кулаком, показал глазами на дверь, чтобы я её держал, никого не впуская.

Его рука зашарила в кармане, словно он там что-то быстро-быстро искал, потом Муня засопел, задёргался, засучил ногами и сразу как-то обмяк.

Девочки ничего не замечали и продолжали всё так же шушукаться и хихикать за перегородкой.

Толян встал, отряхнулся, небрежно выплюнул изжёванный окурочок и поправил брюки.

– Видал! – сказал он с гордостью – как я их сделал! Сюда надо вечером приходиться. Тут такие «лярвы» топчутся! Уже оперённые. Я какую-нибудь здесь обязательно завалю. Уработаю. Ты снаружи дверь поддержишь. На атасе... а я её здесь... – и он пересохшим ртом, задыхаясь, выговорил известное матерное слово.

Таким был мой первый учитель и наставник по не совсем детским играшкам и забавам. Улица всегда найдёт, чем занять и развлечь, если тебе очень хочется...

Пишу это не для того, чтобы шокировать читателя, но, как говорится, из песни слова не выбросишь. Прожил, как спелось. Что есть – то есть! Что было – было!

17

Следующий раз я сошёлся с Толяном года через два-три, уже учёный-переученый, уже начинающий ощущать вкус жизни. Толян к этому времени бросил школу, ходил на завод, стал зарабатывать деньги, запросто курил при матери, хотя отца по-прежнему боялся.

Толян шёл навстречу и улыбался. На нем была голубая в полоску тенниска из вязкого трикотажа с коротким замочком-молнией на груди, широкий флотский ремень перепоясывал брюки-клёш из тёмно-синей ткани, хотя не бостон, но и не ситец. На ногах были лёгкие кеды из белой парусины. Жёлтая фикса и кепочка, прикрывающая правую бровь, говорили о его принадлежности к людям удачливым и рисковым. Шёл он пружинисто, слегка вобрав голову в плечи, отчего походка была осторожной, словно он ощупывал землю подошвами перед тем, как ступить.

Толян подошёл, радостно попридержал меня за плечи и надвинул на самые глаза мою мятую с неуклюжим козырьком фуражку, пошитую бондарским портным Шевелевым дядей Саней.

Муня явно был доволен произведённым на меня эффектом. Он, не спеша, достал пачку «Беломора», небрежно щёлкнул большим пальцем снизу, выбив мундштук папиросы, и протянул пачку мне.

Я, хоть и не курил, но, чтобы не казаться совсем деревенским, затаился от шикарной, сделанной из винтовочной гильзы зажигалки.

– Зажила клешня-то? – глядя на мой стоящий торчком большой палец правой руки, который из-за перерезанного сухожилия не гнулся, сочувственно спросил он.

Я показал ему рваный белый рубец, стягивающий, как шнурком, мой изуродованный палец.

Шрам остался с той поры, когда Толян учил меня сходить на ножах, как пираты. При попытке выбить из его руки большой кухонный нож я и порезал сухожилие. Много было крови и крика, пока жившая рядом медсестра Шурочка не обработала рану йодом и не сделала перевязку.

На удивление всем рука зажила быстро, но палец стал бесчувственным, мёрз зимой и перестал сгибаться.

– Ты корешок очковый! – пожал мне ещё раз руку Муня. – Не вломил меня тогда пахану за нож. Я таких уважаю. Пойдём в «Ручейке» посидим!

«Ручеёк» – дешёвая забегаловка в дощатом павильоне у самой воды на спуске от теперешней гостиницы «Тамбов».

Я неопределённо пожал плечами. Денег, конечно, у меня не было, так – звенела в кармане всякая мелочь, может быть, только на пачку сигарет. А посидеть хотелось...

Толян вытащил из заднего кармана хорошее портмоне из кожи, раскрыл его и похвастался содержимым. Я, весело цвиркнув сквозь зубы в масть своему другу, пошёл за ним.

«Ручеёк», размывая берега, набирал скорость. Сквозь тяжёлый табачный дым пробивались испарения разбавленного пива и алкоголя. Был конец рабочего дня – самый прибыльный час для питейных заведений. Народ гулял. Говорили все и сразу. Одним словом – «толковище», как сказал бы теперь мой бескорыстный наставник Муня-Толян.

Он уже сидел передо мной, фатовато посверкивая фиксой, и небрежно барабанил пальцами по мокрой пластиковой столешнице. Официантка в белом переднике, как выпускница в школьном фартучке, поставила на стол графинчик-колбочку водки и два пива в широких огромных кружках толстого стекла. В потной ложбине её материнских грудей пряталась маленькая жемчужинка на тонкой золотой цепочке.

Толяна она, по всей видимости, знала: улыбнулась ему, слегка кивнула белым кружевом кокошника на гладкой причёске. Он, выхваляясь передо мной, жестом заправского бабника попытался подержать в ладони её выпуклости – та со смешком хлопнула его по руке и скрылась на кухне.

К водке я был совершенно равнодушен, а пиво не пил вовсе и, конечно, не понимал ещё всей прелести сочетания его с водкой.

– Держи мосол! – протягивая Муне окольцованную синей наколкой сухую продолговатую кисть, подсел к нам какой-то парень, примерно одного возраста с Толяном. – А это что за фуфло с тобой? – кивнул он в мою сторону.

Муניה, слегка смутившись, стал что-то говорить ему, оправдывая мой крестьянский вид.

– А, мужик, ломом подпоясанный, – равнодушно протянул парень, видимо, потеряв ко мне всякий интерес. Не спрашивая разрешения, он припал к пивной кружке и в один момент всосал содержимое в себя. Вытерев тыльной стороной ладони узкий щелястый рот, что-то быстро-быстро стал шептать Муне на ухо. Мне только слышались какие-то обрывки: «взяли на понтах Черемиса. На стрёме, падла, стоял... а шухер, сам знаешь... замели...»

Муניה побледнел, божась, зацепил ногтем большого пальца фикса, с сожалением глянул на графинчик, не притрагиваясь к водке, быстро выпил пиво, и, сказав мне: «Торчи здесь!», рванул к выходу.

Знакомый Толяна, не достаивая меня вниманием, вылил в порожнюю пивную кружку водку из графинчика, быстро выпил, и, уставившись на меня, стал соловеть. Раза два он пытался что-то изобразить длинными гибкими пальцами, но уронил руки на столешницу и успокоился.

Теперь он меня в упор не видел.

Сижу, жду, боязливо оглядываюсь по сторонам. Место незнакомое, люди – тоже. Нарвёшься так вот, нечаянно, на чей-нибудь кулак. Вон они, какие – все пьяные, злые...

Муни всё нет и нет. Темнеть стало. «Ручеёк», тихо журча, успокаивался. Кроме меня и Мунина знакомого, упавшего лицом на столешницу, ещё трое-четверо мужиков о чём-то разговаривали без слов, странно жестикулируя руками и невозможно гримасничая. Мне стало совсем неуютно в этом полупустом зале, и я, вздохнув, отправился домой.

На сердитые вопросы бабушки пришлось отвечать односложно. Не рассказывать же ей, как сидел в пивнушке допоздна с Муниным поделником. Хорошо ещё, что от меня не пахло вином, к табачному запаху бабушка относилась равнодушно, может, потому, что сама любила иногда в хорошем настроении, втянуть в ноздрю из табакерки ментоловую тёмно-зелёную понюшку. Я как-то пытался получить от этого табака удовольствие, но, кроме заразительного чиха, ничего у меня не вышло.

Ночи стояли жаркие, и я приспособился спать в сарае, где бабушка хранила разные старые вещи, в надежде, что когда-нибудь понадобятся. В сарае было прохладно, пахло прошлогодней мятой, ржаной мукой из ларя и чем-то ещё неуловимым, что придаёт прелесть обжитому месту. Сарай освещался электричеством, и это меня устраивало больше всего. Читать перед сном я всегда любил, чем вызывал неудовольствие родителей. Жечь керосин по-пустому у нас в селе считалось немыслимым расточительством, а электричества ещё не было. А здесь – вольному воля! Читай хоть до самого утра – никому не помешаешь.

Прихватив с собой «Два капитана» Каверина, привезённого из Бондарей, я пошёл устраиваться на ночлег.

Старый большой сундук, в котором хранились припасы, как нельзя лучше подходил для постели. Застелив его вместо матраса стёганным одеялом, я было совсем уже пристроился путешествовать по страницам, с которых веяло юношеской любовью, верностью и мужеством, как в полуоткрытую дверь протиснулся долговязый Муניה.

– А хаза у тебя ничтяк! Здесь втихарца можно и в картишки перекинуться. Ты, как «Колобок», от бабкиных зенок сюда свалил. Полный кайф получается!

Я молча пожал плечами, обиженный, что он меня вот так, запросто, оставил одного в пивной с каким-то уголовником.

– Дело было! – на мой молчаливый упрёк нервно ответил Муня. – Мой пахан Черемиса брал. Я к нему в «мусорскую» похилил, думал – толкач муку покажет. А мой легавый батя грозил и меня повязать, если я ещё раз на счёт Черемиса базар заведу. Черемису мотать срок за всех не в жилу, он и настучать может, хотя ему за это перо не миновать. Жар-птицей в рай улетит. Вене такие дела запахло, он вор в законе, масть держит. Ему только пальцем пошевелить – любого опустить могут, под землёй найдут и опидорасят. Понял? Его на понта не возьмёшь. Ты ничего, если я у тебя тут ночки две-три перекантаю? – вдруг переменял он разговор, перейдя с «фени» на обычный язык.

Я обрадовано кивнул годовой. Двое – не один. С Муней никогда не скучно.

Толян снова нырнул в темноту и через несколько минут пришёл, держа в охапке старый, военных времён, отцовский бушлат и байковое одеяло.

– А ночка тём-ная была-а! – пропел он, дурашливо появляясь в дверях.

Освободив в углу место, Толян раскинул на полу бушлат, сунул под голову висевший тут же, на гвозде, бабушкин плюшевый жакет, сложил свою верхнюю одежду на ящик и улёгся, накрывшись одеялом. Для летних ночей постель в самый раз – зябко не будет, а жара не доставит.

Этой ночью знакомиться с героями «Двух капитанов» мне не пришлось. Толян захрапел сразу, как только уронил голову на подушку, пришлось выключать свет.

Утром, когда я проснулся, Муни уже не было. Наверное, ушёл на завод «Комсомолец», паять и лудить всякие медные штучки, за что получал по тому времени совсем неплохие деньги.

Совместное проживание с Толяном сулило большое разнообразие впечатлений от городской жизни. В кино ходить – нужны деньги. Шататься туда-сюда по двору – скучно. А здесь – плечо друга, его бесконечные разговоры о прелестях блатной жизни, о воровских законах, нарушать которые никому не позволено, даже самому пахану Вене. Рупь – вход, а выход – два! Позор смывают только кровью, лучше пиковину в бок, чем предательство или душевная слабость. Закон – тайга, хозяин – волк! Любой спор может рассудить только нож. А песни! Какие песни!

«Нинка, как картинка,
С фраером идёт.
Дай мне, керя, финку,
Я пойду вперёд.
По-антирисуюсь,
Что это за кент?
Спорим на «косую»
Этот фраер – мент!
Нинка, я злопамятный.
Ножиком – ага!
Крест поставлю каменный
У тебя в ногах».

Или вот такое – широкое, раздольное:

«Я родился на Волге в семье рыбака,

Где волна о шаланду ласкалась.
Но однажды в окно постучала ЧеКа —
От семьи той следов не осталось.
Малолеткою рос, словно в поле трава —
Ни пахать, ни косить, ни портняжить,
А с весёлой братвой под названьем шпана
Я пустился по Волге бродяжить.
Крепко мы полюбили друг друга тогда,
Хоть встречались порою несмело.
И однажды они пригласили меня
На большое и крупное дело.
Ну а ночка была хороша и темна,
А для вора она, как в обычай.
Поработали мы не больше, как с час,
И вернулись, как волки, с добычей.
Загуляла, запела вся наша братва.
То и дело баян и гитара.
Много девушек было в тот вечер у нас,
В этот вечер хмельного угара...»

Особенно нравилась сладкая и жуткая строчка: «В этот вечер хмельного угара».

Одним словом, каникулы будут насыщенными и продуктивными, как сказала бы моя классная руководительница Нина Александровна. И я не обманулс...

18

Вечером пришёл Муня, пружинистый, весёлый. Под мышкой он держал скатанный в трубу лист ватмана, чем меня сильно озадачил.

Несколько раз оглянувшись, он нырнул ко мне в сарай.

– Ты один?

– Как видишь! – я отложил в сторону только что начатый роман, который был так созвучен моему мальчишескому сердцу, и вопросительно посмотрел на Толяна.

Он, присев на корточки, развернул передо мной плотный лист бумаги, где размашистыми буквами в лучах кинопроектора было написано «КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОЖЕКТОР», и по листу – фотографии и карикатурные рисунки всяких пьяниц, хулиганов, стилияг, мешающих нам продвигаться вперёд по рельсам в ещё более светлое будущее. Под фотографиями и рисунками стояли стихотворные подписи. Помнится одна такая под смешной обезьяной, одетой в яркую, с пальмами, рубашку навыпуск, с широким галстуком, в узкие брюки, тяжёлые ботинки на толстой подошве с загнутыми носами:

«Их наряд криливо-модный.
Брюки – шланг водопроводный.
Не причёска – хвост фазана,
И гримаса обезьяны».

Стилиага! Ловкая рифмованная строфа!

Толян разгладил ладонями лист и почему-то поинтересовался, продолжаю ли я писать стихи?

– Конечно! Об чём разговор. Давай тему!

Я не понимал, почему Муня заинтересовался «Комсомольским Прожектором». Неужели он переделался в «осадмилтыцы», как тогда называли добровольные дружины содействия милиции? Да за это дело я с ним дружить не буду, не то чтобы стишки всякие в угоду легавым писать. Не, не буду!

– Да ты стой! Не ссы варом. Эту газету я только что сорвал со стены гастронома на Советской, у памятника Зои. Мне Веня, как узнал про тебя, что ты стишки стоящие сочиняешь, сразу задание подпряг: против этой комсюковской газеты мы будем свою вешать, и название Веня толковое, воровское придумал – «СОБАКИЩ-БРЕХИЩ» будет называться, орган Главфилона, понял? А на хохму поднимать будем «мусоров» всяких, комсюков, кто в передовики лезет, «мужиков, ломом подпоясанных», тех, кто «один на льдине», придурков в органах. Ты только будешь надписи придумывать. Не мандражи! Рисовать и расклеивать буду я. Отмазки тебе никакой не надо. Ты в этом деле «не куришь». Тебя схавать не могут.

Да, я забыл сказать, что Муня был прирождённый рисовальщик. Тонкие пальцы «щипача» ловко орудовали и карандашом, и кистью. Он сам себе на коленях классные наколки сделал. Чудные такие. Согнёт колено – зубастая весёлая харя лыбится, разогнёт – злобная рожа со стиснутыми зубами, перекошенная, глаза колючие, горло перережет – не сморгнёт. Я его сам просил такие же мне сделать, но Муня сказал: «Это оригинал и тиражироваться не может».

Если бы не уголовные его наклонности, быть бы Толяну художником. Как знать, может быть, и его портреты красовались бы где-нибудь на выставках, деньгу бы зашибал. На иномарках катался. Но, как говорится, если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой.

Свою судьбу Толян написал другими красками...

И вот мы в сарае, лёжа на животах, делаем первый номер газеты, которая наделает столько шума и определит жизненный путь Толяна, да и мой тоже.

До того времени я сочинял всякую ерунду на отвлечённые темы, а здесь нужно было работать, как Маяковский в «Окнах Роста», и я сам в своих глазах вырастал невероятно. Появился вкус к творчеству. Во, какой я! Своё перо я предоставляю для борьбы со злом в милицеейской форме. Не любили милицию у нас в Бондарях! За карман зерна – срок, за сбыт самовязанных пуховых платков – срок. Этой весной тётю Нюру Грошеву, у которой детей восемь человек, месяц в тюрьме продержали за то, что она своих семейных кормила от мизерных барышей торговли на базаре хозяйственной мелочью, привезённой из города – спекуляция! У нас в доме несколько раз обыск делали, правда, ничего не нашли. Искали, наверное, самогон, а может, излишки керосина. Отец работал на местном радиоузле мотористом. Иногда приносил бутылку-другую солёнки для разжигания кизяка в голландке. Так что я с удовольствием взялся сочинять разные подписи под милицеейскими начальниками.

Эта подпольная работа меня воодушевила, и я с вдохновением ломал голову над темой. Получались рифмованные строчки, например, такие:

«Из ствола-нагана
Я, тамбовский вор,
Мусора поганого
Застрелю в упор».

Припоминается и такое, не совсем приличное по тем временам:

«Век свободы не видать!
Но пришьём мы эту блядь.
Будут плакать фраера
От такого вот пера».

А Толян с большим искусством рисовал рядом со стихами, финский нож с наборной рукоятью – он так и просился с белого листа в воровскую руку.

Первый номер газеты к утру был готов.

Бабушка один раз с беспокойством заглянула к нам в сарай, спрашивая, что мы делаем. Толян ей на полном серьёзе ответил, что получил на заводе задание – стенгазету делать про передовиков разных, а я ему помогаю надписи сочинять. «Ну-ну!» – одобрительно кивнула головой бабушка, и со спокойной душой ушла досыпать ночь.

Первая подпольная газета была готова. Мы ликовали. По этому поводу Муня достал из своих широченных брюк пачку «Казбека» и протянул её мне:

– Веня велел передать!

Первый в жизни гонорар! Да ещё от самого загадочного Вени – вора в законе. Я был до неприличия горд.

Широкий лист ватмана, прижатый по краям камешками, лежал на полу перед нами. Вверху, по углам листа ощерились в страшном оскале две пёсьи головы, шерсть на загривках поднялась. Ниже, во всю ширину листа, большими валкими буквами стояло: «СОБАКИЩ-БРЕХИЩ», и под столь характерным названием в обрамлении из скрещённых кинжалов было чётким каллиграфическим почерком выведено – «Орган Главфилона». Дальше шли карикатурные рисунки и злые шаржи на милицеейских начальников, чьи фамилии не давали спокойствия уголовному миру Тамбова, мои подписи, выполненные не всегда качественно, но достаточно убедительно. В самом низу листа, так сказать, в подвале, после нескольких минут раздумья Толян подрисовал очень похожим своего отца, пуляющего в небо из нагана всякие матерные слова.

Я с опаской напомнил другу, что отец таких фокусов ему не простит, но Муня, угрюмо посмотрев на меня, махнул рукой:

– Пусть знает, «мусор», что и за ним следят!

Газету Муня решил расклеить в ночь на огромном окне гастронома на Советской.

– Там всегда народу топчется – базар-вокзал. Пусть читают!

Хлопнув меня на прощанье по плечу, Толян отправился на работу, сказав, чтобы я аккуратно спрятал наше с ним творение и никому не показывал.

– Ни слова! – пригрозил он мне кулаком.

Я с восхищением смотрел на друга. Он пойдёт сегодня на опасное задание, его могут поймать. Могут заломить руки, посадить в тюрьму, может даже и пытаться будут, а ему хоть бы что, ушёл, посвистывая, руки в карманах, малокозырка на глаза, и никто его не может остановить.

Летний день, и без того длинный, в ожидании ночных приключений тянулся бесконечно. Я уже переделал все дела: сам напросился сходить в булочную, простоял немалую очередь за молоком, прополот небольшой огородик за домом, сходил искупаться на Цну, а друга все не было. Вечер прошёл также бестолково: я выбегал на улицу высматривать Муню, читал, потаясь, до одури курил свой «Казбек» и снова выбегал на улицу. Нет, Толяна всё не было!

Поздно ночью, когда я уже спал, тихий, короткий стук в дверь разбудил меня. Отодвинув засов, я увидел друга и ещё какого-то парня, который первым быстро нырнул в приоткрывшуюся щель, по-хозяйски отстранив меня. От обоих папахиваю водкой.

Тот, что был с Муней, развернул газету, коротко хмыкнул, и, снова свернув, сунул под мышку.

Они ушли в чуть светлеющий остаток ночи так же быстро, как и появились.

Я торопливо, путаясь в брюках, оделся и тихо нырнул за ними – история все-таки! Не каждый день приходится выполнять подпольную работу. Как в книге «Белеет парус одинокий». Я, представляя себя Гавриком, помогающим революции, матросам, против ненавистных урядников и городских.

Два тёмных силуэта скользили впереди, выделяясь в призрачном свете нарождающегося утра.

В городе было так тихо, что я слышал шаркающие по асфальту шаги молодых подпольщиков. Они, не оглядываясь, целеустремлённо шли вперёд и только вперёд.

В сквере Зои Космодемьянской пряталась ночь. Туда, со стороны реки, крадучись пробирался туман. Огни фонарей были потушены. Советская улица пустым гулким коридором запахла на две стороны. Фигуры подпольщиков, прижимаясь к домам, скользили впереди. И всё – никого! Светлеющие бельма окон придавали домам мертвенный нежилой вид. Какая милиция в этот час ночи! Самый сон, воровское время! Патрульно-постовая служба теперь бдит где-нибудь в укромном уголке, покачивая в сладкой дремоте красными околышами.

Два друга, оглянувшись, скользнули на другую сторону улицы к гастроному, где в огромных окнах притаился страх. Я схоронился за дерево, с интересом наблюдая за происходящим. Оба силуэта как-то разом прилипли к тёмному провалу окна и тут же быстро-быстро отпрянули, оставив после себя белый квадрат, который чётко выделялся на фоне мёртвого стекла.

Воровато оглянувшись, подельщики быстро нырнули в сквер и скрылись в наползающем с берега тумане. Я потоптался ещё немного, ёжась от утреннего озноба под раскидистым старым тополем, и, разочарованно вздохнув, повернул к дому. Всё произошло так быстро – ни тревожных милицейских свистков, ни ночной погони, на стрельбы – ничего такого, чем можно было бы потом похвалиться. Всё стало обыденно и скучно.

Нырнув в уже остывшую постель, я тут же уснул, не обременённый никакими заботами.

Самое интересное, что газета оставалась там, где её расклеили мои товарищи, до самого полудня. Власти или не читали, или не желали читать нашу сатирическую, подрывающую

их авторитет перед населением газету, орган того самого «Главфилона», с которым так безуспешно боролась милиция.

Я с утра специально прохаживался по противоположной стороне улицы, невзначай кося глазами на продукт нашего с Муней творчества.

Надо отдать должное чрезвычайной занятости утренних прохожих. Они сновали туда-сюда по улице, не поднимая головы, озабоченные по самую макушку. А газета озорно кричала, изрыгая ругательства на ненавистных блюстителей закона, но её никто не слышал. Не было времени остановиться.

И только к обеду возле окна гастронома, где висела газета, стали останавливаться люди. Иные отходили, недоуменно пожав плечами, но были и такие, что, смеясь, показывали пальцами на карикатурные рисунки и щупали руками бумагу, так и не решаясь сорвать.

Заинтересовавшись собравшимся народом, совсем близко к газете подошёл старшина милиции, и, медленно шевеля губами, стал читать, опустив правую руку на пустую кобуру нагана. Затем, почесав затылок, заскреб ногтями по стеклу, отдирая ватман. Но ребята, видимо, крепко постарались – бумага не отклеивалась, и старшина, достав из кармана синих галифе складной нож, стал лезвием соскребать газету, отрывая от неё полосы. Ветер подхватывал обрывки, и, протаскивая по асфальту, относил к бордюру.

Выполнив работу, старшина сложил нож, вытер руки носовым платком и пошёл по своим делам – то ли на службу, а то ли со службы, не предполагая, что агитационная против власти печать является злобной вражьей вылазкой. Старшина явно потерял бдительность, или вовсе не имел. Надо было сфотографировать объект, составить протокол и разработать метод борьбы с проявлением нелояльности к органам.

Следующую газету мы делали через неделю уже в двух экземплярах. Номера вышли ещё краше, ещё наряднее, все в голубой татуировке воровских символов и моих стихотворных строк, где я, кажется, превзошёл самого себя, изощряясь в остроумии и стихосложении.

Эти подпольные листы Муня с дружкой расклеили: один на выносной афише у кинотеатра «Родина», а другой – на окне старого ювелирного магазина, что на Коммунальной улице. Не знаю, сколько висели те листы, но слышал, как соседка тётя Шура, всплёскивая руками, говорила бабушке, что в городе снова объявилась «Чёрная кошка», расклеивает по городу какие-то листы и обещает всех перерезать.

На этот раз воровское слово «Главфилона» попало в самое сердце городского обывателя. Я несколько раз, стоя в очередях, был свидетелем панических слухов, что вот «уже милицию запугали, те с наганами и то боятся по ночам по городу ходить, Главлимон на Петропавловском кладбище в склепах обитает, надо замки менять, не приведи, Господи, коли обворуют!»

Хотя в те лихие години у большинства говоривших братъ, кроме нужды, было нечего.

Скоро, распрощавшись с Муней, так и не дочитав «Двух капитанов», я вернулся в Бондари. Начинались школьные занятия.

Муня на прощанье снова сводил меня в «Ручеёк», на этот раз более удачно. Войдя в дом, я все норовил отвернуть лицо при разговоре с бабушкой: уж очень не хотелось скандала.

19

Не знаю, сколько потом номеров «Собакищ-Брехищ» было выпущено, но молва о воровской газете дошла и до самого моего села, обрастая невероятными подробностями.

Школьные годы проходят быстро. Я уже учился в десятом классе, и подглядывать за девочками считал теперь зазорным, хотя иногда приходилось где-нибудь в раздевалке накоротке потискать одноклассницу.

На весенние каникулы мать снова отпустила меня в Тамбов.

– Съезди. Говорят, бабушка заболела, проведай. Она ж тебя больше всех любит. Лекарство отвези. В городе всё по благу доставать, а здесь, у нас, в Бондарях, своя аптека, и переплачивать не надо...

Я обрадовано подхватил собранный матерью узелок и отправился к утреннему автобусу на Тамбов. Люблю дорогу. Сидишь, поглядываешь в окошко, места разные проплывают, люди...

К моему приезду бабушка была уже на ногах, хлопотала у печки, от которой тянуло пахучим жаром.

– А, ласточка моя прилетела! – и всё поглаживала меня руками, поглаживала. – Спасибо матери твоей за настойку, а то прошлогодняя давно кончилась, а в Тамбове такую не достанешь.

Я прямо с порога хотел кинуться к Толяну, уж очень хотелось узнать про нашу с ним газету. Кто теперь вместо меня ему подписи к рисункам сочиняет?

– Некуда тебе идти. Отдышись. Анатолия, друга твоего, месяца два назад как забрали. Говорят, завтра суд будет. Вроде и парень был ничего – то воды принесёт, то за хлебом сбегает. А видишь, со шпаной связался, газету какую-то собачью на стенах расклеивал. Смотри и ты – будь поаккуратнее. Оглядывайся с друзьями-то. Не дай Бог, куда ещё заведут тебя...

Я испуганно присел на краешек сундука. Два первых номера газеты, самое начало, было моё. Вот докопаются... Или Муня невзначай чего скажет, тогда – кранты. Школу не дадут закончить. Загребут.

Я стал осторожно выспрашивать у бабушки суть да дело. Она толком ничего не знала. Только сказала, что и отца из-за Анатолия с милиции выгнали – сына не досмотрел. Грузчиком теперь на Егоровой мельнице работает. Семья бедствует, а он пьёт пуще прежнего, дебошир. Вон я тебе газету оставила, там про всё прописано.

Бабушка грамоты не знала, а газету выписывала каждый год на разные хозяйственные нужды – селёдку завернуть, или ещё что. Подходящей бумаги не было, а газета в самый раз.

Я развернул протянутую бабушкой газету «Молодой Сталинец» – выходила когда-то такая молодёжная газета в Тамбове. На последней странице, в самом низу, было короткое сообщение о предстоящем суде над группой опасных преступников, обоглавших наши правоохранительные органы и терроризирующих граждан. Суд будет открытым в клубе «Городского Сада» в десять часов утра. Следующий после моего приезда день был как раз и днём суда.

Утром, наскоро позавтракав, и сказав бабушке, что иду в кино, я потопал в «Горсад». Мартовское солнце стояло достаточно высоко, и вековые деревья в парке, отбрасывая тени на ослепительной белизны снег, разлиновывали его в косую линейку, как тетрадный лист. Воробы, опьянев от солнышка, резко перекрикивались на ветках, решая свои проблемы. Во всём чувствовалась весна.

Клуб «Городского Сада», длинное приземистое здание барачного типа было заполнено под завязку. У входа, подчёркивая серьёзность происходящего, стояли два милиционера с карабинами. Правда, на входивших они посматривали весело, разговаривая о чём-то отвлечённом.

Я боязливо прошмыгнул между ними, нашёл в уголке место и встал на деревянную скамейку, чтобы лучше видеть происходившее. Рядом со мной на скамейке стояли точно такие же пацаны, шумно разговаривая между собой. Но вот откуда-то со стороны импровизированной сцены под конвоем четырёх солдат внутренней службы ввели подсудимых.

Муню я разглядел сразу: остриженная голова на тонкой длинной шее. Рядом с Толяном на скамье подсудимых сидели ещё два человека. В одном я узнал парня, который подсел к нам в «Ручейке» и выпил купленную Муней водку. Теперь он не выглядел таким самоуверенным. Нервно оглядывался по сторонам, вероятно, искал в толпе знакомых или подельников.

В центре между ребятами сидел несколько старше их по возрасту человек, скривив в нехорошей усмешке тонкие синеватые губы. Длинные пролысины белыми языками обхватывали от висков его тоже стриженую голову. Сцепив татуированными пальцами колено, он, казалось, не смотрел никуда, как будто предстоящее его не касалось.

– Веня! Веня! – восхищённо зацокали языками рядом со мной мальчишки. – Во, как держится! Вор в законе. Он всех монал!

Когда вошли судьи, Веня, нехотя встав, выпустил на пол сквозь передние зубы длинную пенистую струю и тут же сел, но конвойный, сунув стволом карабина ему в спину, заставил снова встать.

Суд был долгим. Зачитывали кипы непонятных бумаг, говорили и говорили слова, гневные речи и слезливые просьбы родственников, а может, адвокатов – было не понять.

Слушая всю эту сумятицу, я догадывался, что моего друга Муню обвиняют не только в распространении ложных представлений о нашей доблестной милиции, но и за участие в ограблении ювелирного магазина, на котором он прошлым летом расклеивал воровскую газету. Правда, роль в ограблении ему отводилась маленькая – он стоял «на стрёме».

Вся вина за выпуск подрывной прокламации ложилась на «Главфилона», то есть вора в законе по кличке «Веня». Когда встал вопрос, а кто же сочинял стихотворные подписи под рисунками, я струхнул здорово, и даже спустился со скамейки, чтобы не попасть на глаза Муне.

Но я боялся напрасно. Мой друг Толян со спокойной гордостью всё взял на себя, сказав, что давно балуется стихами и даже пробовал сочинить поэму, но она у него не получилась.

Учитывая чистосердечное признание, суд определил ему шесть лет исправительно-трудовых лагерей. На «Вене» и на его рядом сидящем подельнике висело многое посущественней выпуска подрывной газеты и вовлечение в преступную организацию Анатолия Малкина, по кличке «Муня», молодого рабочего завода «Комсомолец», медника по профессии...

«Вениному» подельнику определили пятнадцать лет строгого режима, а самому «Вене» – высшую меру наказания – расстрел...

Как только приговор был зачитан, «Веня», вскочив со скамьи, тут же пустился плясать вприсядку, выкидывая вперёд ноги, руки его были за спиной в наручниках.

Зал восхищённо ахнул. И только мальчишки, гомонящие рядом со мной, притихли. Было что-то жуткое и потустороннее в этом страшном переплясе. Даже грозный прокурор не нашёлся что сказать, так и стоял с растопыренными руками за казённым столом.

Я, трепеща всем телом от необъяснимого ужаса, вытянув шею, смотрел, как два охранника, опомнившись, подхватили «Веню» под мышки и поволокли к служебному выходу. Пока «Веню» тащили, ноги его дёргались в неудержимом переплясе. Увели и Толяна.

С тех пор я с ним больше не виделся. Я уходил из клуба, всем нутром ощущая свою вину и неотвратимость закона. После всего увиденного во мне как-то сразу исчезла романтика блатной жизни.

А отчаянный жест «Вени» ещё долго потом обсуждался в народе.

Такая вот – Собакищ-Брешищ...

20

Так что, воля воле – рознь, а свобода – свободе...

...И вот мы несёмся в попутке в распахнутые ворота жизни. Школа окончена. Вместе с паспортом в кармане – аттестат зрелости и сотня рублей, сунутая в последний момент заботливой материнской, ещё мокрой от вытертых слёз, ладонью. Заботиться о себе мы не умели. Было это не модно, «не в формате», как теперь говорят, коверкая русский язык, электронные вещатели. Великая страна сама позаботится о тебе! Ты сын её, а не пасынок! И не столь важно, кем ты будешь – инженером или сантехником. Сантехником даже предпочтительнее: рабочие руки нужнее конторской головы. Да и зарплата у рабочего не меньше, чем у того же инженера. Так что вопрос престижа опускался. Да и девушки любят больше нахрапистых парней с рабочей окраины, чем хлюпиков и очкариков. Обычно занудливых и скуповатых.

Прогремев по ребристому настилу деревянного Рассказовского моста, машина влетела в тесные объятия города на перекрёстке улиц Советской и Коммунальной. В лицо ударили пряные запахи бензина, разогретого асфальта и тавота с расположенного поблизости старого приборостроительного заводика – вечные спутники машинной цивилизации и промышленной индустрии.

Пружинисто спрыгнув на асфальт, мы с другом стояли, вертя головами в непривычном и праздничном многолюдии. Был рабочий день, а народу на улице толпилось, как у нас в Бондарях в базарный день. Стояли лотки с мороженым и газированной водой. Мы было направились туда, но «ястребок», ехавший с нами, обняв нас за плечи, развернул в другую сторону. «Орлята учатся летать!» – пропел лейтенант, направляя наши стопы к забегаловке.

Кафе «Берёзка» в сквере Зои Космодемьянской приютила нас как нельзя кстати. Помниться, там подавали отличный бифштекс с картофельным пюре и зелёным горошком, а сверху была накинута, как кружевная салфетка, золотая глазунья ...

Наш компанейский «ястребок» оказался столь хлебосольным парнем, что через полчаса мы уже клялись ему в любви и вечной дружбе, то и дело хлопали по рукам и благодарили за угощение.

Лётчик спешил в расположение части. Да и нам пора было устраивать своё будущее – трудовое и героическое.

В том году шёл массовый набор строителей в самое большое предприятие города – трест «Химпромстрой» – генерального подрядчика строительства завода «АКЗ». Каменщики, монтажники, бетонщики, сварщики были нужнее теперешних коммерсантов. Тамбов строился, хорошел и рос, особенно в северной части. От того времени у меня остались вот эти строки: «Корчем сад под городскую площадь, сводя на нет провинциальный вид. Бульдозер прёт своей железной мощью – не ведает машина, что творит. И, поросль срезая молодую, горбатый нож решителен и скор... Катки асфальт горячий утрамбуют. Какой кругом откроется простор! Нелёгкий хлеб мой – кубометры грунта. На это дело выписан наряд. Что дорога рабочая минута, и время – деньги, люди подтвердят. Рот разевал ленивец и бездельник... Не то, чтобы я вкалывать любил, я молод был, а стало быть, без денег. А в стройконторе – длинные рубли. Наряд рабочий выполню до срока. Сомнений нет, и цель моя ясна. Люблю мотора басовитый рокот. И мне плевать, что в городе весна! Руке послушна грозная машина. И мне от роду восемнадцать лет... Как флаги белые перед лицом насилья, деревья свой выбрасывали цвет».

21

Рабочих требовалось много, так много, что на всех заборах и столбах были расклеены объявления оргнабора на строительство большой химии. «Вот наша судьба!» – мы хлопнули с другом по рукам, и отправились пешком в наилучшем расположении духа, расспрашивая встречных и поперечных дорогу в тот самый строительный трест.

Дорога оказалась путаной и длинной. Проплутав по закоулкам, по Шацким и Володарским улицам, мы наконец-то вышли к только что отстроенному троллейбусному депо, и, повернув по улице Монтажников, увидели двухэтажное выкрашенное охрой здание треста «Химпромстрой»

В отделе кадров, безо всяких предвзятостей, оглядев нас, таких молодых и весёлых, с ног до головы, кадровик, не заглядывая в документы, направил моего товарища в цех сборного железобетона – за его широкие плечи, ну а меня в ремонтно-механический цех – для предварительного ознакомления с рабочими местами. «Общежитием будете обеспечены, для мужиков у нас всё есть, а вот с женщинами – беда! Беда... Придётся палатки ставить», – почему-то объявил он нам. Действительно, к осени, обочь дощатых барачков для семейных, выросли ряды остроконечных палаток с нахлынувшими из сёл и деревень грудастыми бойкими и крепкими девчатами, из которых любая и коня остановит, и в горящую избу войдёт. И только на следующий год для них было возведено – ими же самими – огромное общежитие, получившее название «трёхсотка», по количеству коек.

Весёлое время! Свободные нравы!

Но это было потом. А пока мы с товарищем, спотыкаясь на бетонных обломках и вдыхая цементную пыль, пробирались к своим рабочим местам.

«Стройдвор» – так называлось это кандалное место, где я оставил свою юность, гудел, ворочался и жил в тесных рамках пятилеток.

Спотыкаясь по «Стройдвору», мы вдруг увидели впереди себя гогочущую толпу рабочих, и, к своему удивлению, услышали тяжёлый, продолжительный, с всхлипами, такой знакомый коровий рёв.

Надо сказать, что в то время большая часть теперешнего химкомбината и завода ЖБИ-1 были в зарослях краснотала, лебеды и всяческого дурнотравья, где свободно паслись коровы и буйно цвела картошка на раскинувшихся здесь же огородах.

Просунувшись сквозь толпу, мы увидели несчастное животное, увязнувшее почти по колени в чёрной луже парного битума, огромные кругляши которого высились здесь же, в осевшей под солнцем большой куче.

Наивное животное паслось рядом, и его угораздило попасть в лощину с натёкшим гудроном. Корова без посторонней помощи не могла выбраться из вязкой индустриальной трясины, и собравшиеся гадали: что делать?

В тени какого-то высокого строения асфальт уже начал застывать, ещё крепче вцепляясь в свою жертву.

– Отрубить ей ноги, да и делов-то! – какой-то остряк попытался выкрикнуть из толпы, но его тут же оборвали.

Корова, запрокинув к спине глянцевые с синевой рога, уже не ревела, а глухо и хрипло кашляла и стонала по-бабьи. Громко сигналя, откуда-то из-за угла появился автокран, и народ перед ним расступился. Из кабины вылез небольшой мужичок в линялой голубой спецовке, бросил пару досок на расплавленный гудрон и опоясал враз присмирившую корову обрезком широченной транспортёрной ленты с железными проушинами – устройство для погрузки штабелей кирпича. Корова стояла тихо и только мелко-мелко подрагивала кожей.

Осторожным движением стрелы и чалок крановщик под команду мужичка в синей спецовке «майна!», «вира!» освободил корову из гиблого места и осторожно поставил рядом на зелёный лужок с лопушистой травой.

Не успел мужичок освободить божье существо от спасительного бандаж, как бурёнка, резко пригнув голову, рванувшись с задраным хвостом дала стрекоча по направлению к огородам!

– Не! – сказал мой друг Валёк, – нам бы церковь конопатить, купола позолотить. Погуляем ещё!

И мы погуляли...

Часть 2 Валёк

*На горе, на горушке,
Под берёзой белою
Тихо клонит голову
Православный крест.*

Старая песня

С возрастом человек начинает ощущать скоростную сущность времени, драматичного по сути своей: одинокий транзитный пассажир мечется по перрону, глядя с тоской вслед уходящему в пункт «А» поезду, на который ему не досталось билета, а следующего поезда туда, в то заветное место, уже не будет никогда. И пассажир в безоглядном порыве вскакивает на подножку другого поезда, но тот поезд случайный. И пассажир оказывается в пункте «Б». Вывалившись на перрон, растеряно оглядывается, соображая: куда же он попал?

Говорится, говорится в Писании: каждому свой час и своё время... Прозевал – и удача оставила тебя!

Мой школьный товарищ Валентин Тищенко, Валёк, как я его называл, друг детских игрищ и забав, прозевал свой поезд. Второпях вскочил на подножку случайного и сорвался под беспощадные катки-колёса на отполированные, отсвечивающие низким, северным небом, рельсы.

Так что метафора времени-поезда здесь не случайна. Воспоминания о давнем друге рисуют в моём воображении летящий в неизвестность поезд, и два чудака, два подростка-переростка, сидящих на крыше вагона с раздутыми рваными парусами рубах, и сумасшедшее веселье разрывает их оружие рты: вперёд и дальше! И только вперёд! И только дальше!..

1

Убедив домашних выдуманной несурзадной чепухой о школьных лагерях, мы с другом срываемся, как с головокружительного обрыва, в необъятные пространства стальных параллельных линий, которые, конечно, сходятся только в бесконечности.

Ощущения стремительного полёта и – убегающая, недостижимая бесконечность горизонта, которую любопытный зрачок стремится защемить, но, прихватив его, никак не может удержать – восторг незабываем!

Тогда, наверное, и поселилась в моём друге, и стала сосать грудь лягушка-путешественница, которая и меня иногда чмокала мокрыми холодными губами.

Эта жаба захватывала когтистыми лапками сердце, и оно начинало стонать, беспокойно заманивая туда, в недостижимое и неясное за отодвигающимся горизонтом пространство, где шла такая красивая, такая непохожая на нашу жизнь.

Но всё, кроме стремительно убегающего горизонта, когда-нибудь да кончается.

Кончилось и наше детство, а с ним и летящие пространства, озираемые с покатых и неустойчивых крыш громыхающих на стыках вагонов. Надо было строить свою жизнь.

Нам так понравилось слово «строить», что мы, как-то вдруг, оба очутились в строительном тресте – я в бригаде монтажников, а Валёк подался к бетонщикам, там платили «поболе», но надо было и вкалывать тоже «поболе».

У бетонщиков расценки шли по кубам, а у нас, монтажников, по тоннам. Попробуй, посчитай, сколько тонн ушло железа в сварных конструкциях, когда они уже смонтированы!

На монтаже, на воздухе, работа сварщика не пыльная: сиди себе на верхотуре, как дятел, и лови электродом дугу вольтову, швы прошивай. Такая работа мне нравилась, и стала основной в моей хлопотливой жизни.

– Спина как ломит... Ага! – сказал однажды Валёк, стягивая с ноги антивибрационный ботинок на толстенной каучуковой подошве.

Такую обувь тогда выдавали бетонщикам от вибрационных сотрясений. Бахилы крепкие, тяжёлые, правда, но ходишь в них мягко, как по ковру персидскому.

Мой друг запустил ботинком в шевелящийся в углу комок газеты со следами вчерашнего ужина – столовские пирожки с мясом, – и отвалился на подушку, усиленно дымя сигаретой.

Мыши нас особенно не досаждали, пообвыклись. Всё, что можно было съесть, мы съели сами, оставляя им одни обёртки.

Ветер, прижатый дверным косяком к барачному полу, пытаюсь вырваться через разбитое окно наружу, жалобно поскуливал, как щенок, которому нечаянно наступили на хвост.

Тоска собачья! Ни денег, ни вина! И до полочки ещё дней десять...

– Работа и раб – однокоренные слова, – философствовал Валёк, тыча недокуренную сигарету в плохо оштукатуренную известковым раствором стенку. Сигарета, сморщившись, гаснет, рассыпая на пол красноватые в вечерних сумерках искры.

Валёк кладёт окурок в консервную банку – такой «бычок», или «охнарик» по-нашему, ещё сгодиться.

Курить он начал по-настоящему лет в девять-десять, когда одно время жил у бабушки, которая подторговывала махоркой, невероятно злющей, совсем как наш участковый милиционер.

Валёк, при всей своей расточительности, к сигаретам относился бережливо. И без курева страдал невероятно, стреляя направо и налево «табачок-крепочёк».

– Учиться давай! Диплом получим, а то здесь, кроме ордена Сутулова, ничего не заслужишь – констатировал мой друг, отворачиваясь к стенке. – Свет вырубай! Спать надо!

В школе Валёк отличался крайней степенью дерзости, но учился хорошо. Троек не имел, а к пятёрке относился пренебрежительно, да ему их и не ставили. При любом отличном ответе больше четырёх баллов он никогда не получал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.